

Татьяна Новоселова

Живы будем — не умрем

По страницам жизни
уральской крестьянки



«...еще одно
свидетельство:
сохранить
в себе человека
в нечеловеческих
условиях возможно.
Чтобы в это поверить,
нужно прочитать эту
удивительную историю».

Майя Кучерская



Семейный архив

Татьяна Новоселова

**Живы будем – не умрем.
По страницам жизни
уральской крестьянки**

«Никея»

2020

УДК 821.161.1
ББК 84+86.372

Новоселова Т. С.

Живы будем – не умрем. По страницам жизни уральской
крестьянки / Т. С. Новоселова — «Никея», 2020 — (Семейный
архив)

ISBN 978-5-907202-70-2

Книга воспоминаний Татьяны Серафимовны Новоселовой – еще одно сильное и яркое свидетельство несокрушимой твердости духа, бесконечного терпения, трудолюбия и мужества русской женщины. Обреченные на нечеловеческие условия жизни, созданные «народной» властью для своего народа в довоенных, военных и послевоенных колхозах, мать и дочь не только сохранили достоинство, чистую совесть, доброе, отзывчивое на чужую беду сердце, но и глубокую самоотверженную любовь друг к другу. Любовь, которая позволила им остаться в живых.

УДК 821.161.1

ББК 84+86.372

ISBN 978-5-907202-70-2

© Новоселова Т. С., 2020

© Никея, 2020

Содержание

От редакции	6
От автора	7
Глава 1. Человек родился	8
Глава 2. Гуси-лебеди	14
Глава 3. Матушкина услуга	19
Глава 4. Крысы, или Печальное событие, которого мы не ждали	23
Глава 5. Зимние забавы, и не только...	29
Глава 6. Первоклассница	32
Глава 7. Незабываемые впечатления детства	39
Глава 8. Рождество и Святки	43
Глава 9. Нечистая сила	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Татьяна Новоселова
Живы будем – не умрем. По страницам
жизни уральской крестьянки

© ООО ТД «Никея», 2020

© Новоселова Т.С., 2020

От редакции

Книга печатается впервые по рукописи.

Сокращения в тексте помечены угловыми скобками с отточием.

Разговорная лексика редактуре не подвергалась и сохранена в полном объеме.

Разъяснения диалектизмов, данные в постраничных сносках, сделаны автором.

Фотографии предоставлены автором.

От автора

Откровенно признаюсь: долго держал меня в тисках собственный запрет на воспоминания детства, но все же я решилась на склоне лет написать часть своей биографии. Удивительно, что за годы работы я ни разу не захотела отказаться от замысла. Получилась печальная послевоенная правда, местами мрачная, но реалистичная.

Над чем только не задумывалась я все эти годы: над историей своей страны, села, над жизнью своих родителей, предков. Я вспоминала колхозы, лесоповал, Великую Отечественную войну – как она прокатилась по нашим судьбам и через какие жизненные уроки мы, сироты войны, прошли...

По мере того как прибавлялись написанные страницы, росло и количество вопросов: как повлияла на нас малая родина, как сама она возникла и почему теперь умирает? Осмыслив некоторые страницы нашей истории, поражаешься парадоксу: как только деревня немного вставала на ноги, люди начинали жить по-человечески, строить планы на будущее, всякий раз как будто неведомый злой колдун насылал на нее еще более тяжкие испытания.

Хоть мы всего лишь маленькие человеческие молекулы, но не грозит ли нам непредсказуемыми последствиями ее гибель, ведь мы связаны с ней некой пуповиной, как мать и дитя. Утратив ее, мы становимся сиротами и теряем точку опоры. Это особая боль, которую мы не в состоянии унять. Я видела, как встречаются люди на своей родной земле: они собираются на пустом месте, идут на заброшенное кладбище, заросшее бурьяном... Мы с мужем были свидетелями, как до последнего держался один-единственный мужчина в деревне, пока не убрали, не смотали провода с телеграфных столбов... Эта книга – дань памяти нашей малой родине. Попытка восстановить речь, разговоры, выражения, присказки, частушки, прибаутки, которые бытовали в то время в нашем глухом краю. Сохранить для моих потомков то, что безвозвратно исчезает.

Но прежде всего мне хотелось вспомнить наших матерей. Их любовь всегда оставалась для нас незримой опорой. Их жизнь была превращена в кабалу, и они ничего не могли в ней изменить. Я имею в виду труд в колхозе. Пусть рассудит сама история, есть ли оправдание этим самым колхозам? У наших мам не было возможности нормально накормить семью, поухаживать за больными стариками, приголубить своих детей. А сколько калек оставил колхозный строй! Титанический, жертвенный труд был проделан... за палочки. Кто-нибудь покается когда-нибудь в этом насильно навязанном кошмаре?

В своей книге я много пишу о природе моего затерянного края. Мне хотелось подчеркнуть, что борьба с суровым климатом, всякого рода лишениями не только закаляла характер, она была едва ли не главным учителем, вызывая могучую потребность в самой жизни.

Может получиться, что далеко не всем наши жизни покажутся интересными, но то, что они поучительны для потомков, – я не сомневаюсь. Мы должны были не единожды умереть, но всякий раз Бог оставлял нас здесь, в этой жизни. Разве тут не задумаешься: зачем? Когда-то давно я прочла у Евгения Богата, известного популяризатора науки: «Может, самая интересная жизнь – это жизнь незамечательных людей, в будущем, может, создадут такую серию. И вот когда в этой серии начнут выходить тома книг, мы поймем, что незамечательных людей нет».

Во время работы над рукописью я понимала, что отдаю себя не пустому делу. Ведь самое настоящее, что есть у человека, – это его биография.

Татьяна Новоселова

Глава 1. Человек родился

Памяти моей мамы Елизаветы Харитоновны Шестаковой

Моя малая родина – «опорный край державы». Металл, камни-самоцветы, лес – богатства края. Лесозаготовки велись здесь испокон веку. Весной лес сплавляли по его рекам и, конечно, по моей родной реке Туре – самой длинной реке Урала, на которой я родилась и выросла. Лесозаготовки, лесосплав – это удел мужественных, сильных, умелых людей.

Наша Тура с виду кажется тихой и спокойной, но для дальнего сплава река не простая. Сплавщики – люди сноровистые, вооруженные баграми, лихо управляли они ходом плотов. В нашем селе сплавщики пользовались особым уважением за свой труд, а еще за то, что были они отличными рассказчиками. Реку знали, как свой родной дом, а впрочем, она и была их домом. Каждый год с раннего детства мы, ребяташки, стоя на берегу Туры, с большим любопытством наблюдали лесосплав. Мы видели, что плоты были связаны друг с другом в большие плитки, на последней обязательно стояла избушка – жилье для сплавщиков. И чего там только не было! Лодки, длинные мочальные веревки, багры, топоры и весь сплавной инвентарь. В ночное время на каждой плитке пылал костер, чтоб видеть, как идет сплав, нет ли где зацепок и заторов. Бреднем тут же в Туре ловили рыбу для пропитания. Ели только крупную, мелкую выпускали обратно. Не раз приходилось с берега наблюдать, как мимо нас проплывала целая семья сплавщика. Сушилось выцветшее на солнце бельешко, отец готовил рыбацкие снасти, хозяйка что-то помещивала в чугунок на примусе, который стоял подальше от избушки, а орава ребяташек кричала, махала нам приветственно руками. Мы тоже в ответ подпрыгивали на берегу, визжали непонятно от какой такой радости, хлопали в ладоши и конечно же завидовали: ведь они плывут, движутся и видят, что происходит на берегах нашей длинной реки, а мы стоим, разинув рты, на одном месте. Нередко жившая тут же на берегу, краснощекая и добросердечная Тоня Евланиха, так звали ее все в селе, выглядывала в створку окна и подзадоривала нас: «Завидно, поди?» Или, смеясь, говорила: «Рыбак рыбака увидел издалека». У Тюмени, по рассказам, лес выкатывали на берег, клеймили, конным транспортом подвозили к товарным вагонам, грузили на платформы и отправляли по назначению. Работа была тяжелая, почти лошадиная, приходилось все делать вручную.

Сталинские репрессии не обошли стороной и наши края. В верховьях Туры в районе лесного поселка Санкино, что от нашего села Ленское километров пятьдесят будет, был устроен лагерь для репрессированных, которых под конвоем использовали для лесозаготовок и сплава древесины. В войну и после нее потребность в лесозаготовках значительно возросла, а рабочих рук не хватало, в особенности мужских, и ранешнюю технологию лесосплава, не допускавшую потери ни одного бревна, заменили дикой технологией молевого сплава, которая погубила и древесину, и реку Туру. При ней деревянные лесины плыли по одной, врассыпную, как попало. Потери были огромны. Помню, каждое лето до глубокой осени наши деревенские мужики заготавливали дрова из бревен, доставшихся им от такого лесосплава. На всем берегу вдоль деревни стеной стояли поленницы дров. В результате этой дикой технологии вся березовая и лиственничная древесина до сих пор лежит или сгнила на дне реки. Тура стала непроходимой для катеров, не говоря о пароходах, которые когда-то бывали в наших краях. Во время большого половодья чуть не половина сплавного леса разносилась по лугам и полям, засоряя эти поля и сенокосные угодья. Забегая вперед, скажу, что летом мама ежедневно наговаривала мне: «Не вздумай купаться, а хуже того – нырять, да книзу головой. Везде топляки, расколешь голову. Чё я тогда буду делать, волосы на себе рвать?»

В самый разгар войны на лесоповал отправляли из колхозов всех, кто годился, кроме стариков, инвалидов и детей. Всю свою долгую жизнь мама вспоминала лесоповал, куда ее

отправили от нашего колхоза «Красный пахарь». Я и сейчас помню ее рассказы. По мере моего взросления и осознания происходящего, я засыпала ее вопросами.

– Что ты там делала, мама?

– Все, что десятник скажет. Отпираться не будешь или судить-рядить, ведь не на курорт приехала отдыхать. Мужики лес ручными пилами с комля пилили, а мы сучья обрубали по колено в снегу, а когда и до пахов. Потом я ледянку мела дочиста ползими, чтоб лесины удобнее было к реке по ней скатывать, а там эти бревна скрепляли в плоты.

Позже мои вопросы уже требовали подробностей, так я узнала, что ледянка – это широкая, длинная, сплошь вся ледяная дорога. Ее готовили заранее, расчищали от деревьев и кустов. Самым трудным было выкорчевывать пни.

– А как выровняем к морозам, – рассказывала мама, – то в бочках на лошадях подвозили воду с реки, заливали ее водой, и делалась она тогда ровной и вся из льда. Лошадей ковали хорошо, чтоб не падали и не катались. Иногда за ночь снегу на нее наметало почти по колено, вот я и сгребала его на стороны, да мела ее метлой.

Тут в ее рассказ вступала я с вопросом: а не падала она, не ушибалась ли?

– Еще как! Так хлопнешься, что все в тебе сбрыкает, а из глаз разноцветные искры посыплются. Жаловаться было некому. Наперед знала, чё десятник скажет: «На молодом теле, Лиза, нет накладу».

– А вы в бане мылись?

– Вот ведь какая ты неумная: все тебе надо знать с пяты до пяты.

Помню, перед ответом на этот каверзный вопрос она залилась звонким, веселым смехом, глаза ее прищурились и засверкали.

– А вот скажи про это сейчас доброму человеку, так не поверит. Баня была одна на всех. Стояла она недалеко от барака. Большая, с двумя печами, а в печах вделаны котлы для воды. Была она с предбанником, там на шесте березовые веники висели. Мылись сразу все вместе: и мужики и бабы, только сидели на скамейках по разным сторонам. Свой стыд вениками прикрывали. Пару было много, а хохоту еще больше.

Мы все тогда дружно жили, народ был другой, и время другое, и трудности были одни на всех. Разглядывать никто никого в бане не будет – не до того. Мы лес валить приехали, а не свое тело казать да холить. Там каждая секунда рабочего времени была на счету. Все, как на войне. Мы все вместе ни свет ни заря на работу до самой темноты, пока команду не получишь от десятника.

Я не понимала, зачем надо было мыться всем вместе, и просила ее тут же растолковать это хитроумное обстоятельство. Оказалось, это делалось для того, чтобы работа не стояла, ведь все они в этой технологии зависели друг от друга.

– Легче всего мне было, когда перед самым декретным отпуском поставили меня на легкий труд – носить в огромной паевке за плечами еду лесорубам. Ближе к бараку лес был давно вырублен, лесорубы углубились уже далеко в лес, а время на ходьбу мужикам терять не положено. Вот я и носила им подкрепление. Чаще всего брела по сугробам по пояс. А то и вовсе пурхалась в снегу, как в пуху, но, главное, скажу тебе, Таня, за всю зиму ни одних штанов не износила. Никаких. У меня их вовсе не было. Надевала на себя юбки, какие были, да длинный шугай (пальто по-теперешнему).

Не я одна так горе мыкала. Моя двоюродная сестра Фекла Федоровна, или, как по-своему называла ее мама, Феклуня, перещегооляла меня. Она три зимы подряд на лесозаготовках мантулила. Да, что говорить, там работали люди и не нам чета.

Тут надо сделать небольшое отступление и пояснить, что такое трудовень, за который работали люди в колхозах и здесь, на лесоповале. По словам моей мамы (а не из энциклопедии), трудовень – это поставленная палочка карандашом на бумажке у бригадира. По количеству этих палочек в конце года определялось трудовое участие колхозника в общественном

хозяйстве. Видимо, так на деле осуществлялось социалистическое распределение по труду. А заодно работал принцип укрепления трудовой дисциплины, так как трудодни могли зачеркнуть или не записать вовсе, если бригадир показалось, что качество выполненной работы низкое. Но могли, наоборот, начислить полтора, два, половину трудодня. Это делалось чаще по собственному усмотрению бригадира, а по словам мамы – «черт знает, как они их начисляли». Нарисованные простым карандашом, они от времени могли стереться, и колхозники нередко замечали: «Фимическим карандашом рисуй, да плюй на него шибче, чтоб не стиралось». Я, будучи школьницей, была свидетелем ведения этой бухгалтерии и крепких разборок.

В конце декабря 1943 года маме дали декретный отпуск на неделю по случаю предстоящих родов, а в придачу неожиданно порадовали тремя метрами ситца и отправили одну домой. В конце декабря морозы стояли под -25 с ветром, идти предстояло далеко, и все на своих ногах. Деревни дорогой встречались редко, кругом один лес. Зима была снежной. Иногда маленькие снежинки, словно белый пчелиный рой, падали с веток деревьев на голову, лицо. Снег хрустел под ногами, как сухари. Волосы из-под платка седели на морозе, пар от дыхания туманил глаза и мешал идти. Кругом таежная ширь и раздольность тайги. И чего только не передумаешь за дальнюю дорогу! Кругом ни души, только лес по обе стороны дороги стоит стеной. Молчат оба, но могут и расшуметься: он в бурю, а она только лишь в праздник, но о них, о праздниках, уже давным-давно все забыли. Да, сжились мы здесь, в вековой глухомани, с лесом, как со своим именем. И какая участь ждет нас? Может, вместе и погибнем. Он – от пилы и топора, а мы – от войны: от голода и холода. «И зачем я такое думаю сейчас? – спохватилась вдруг она. – Выбросить надо это из головы, мне такое сейчас думать не положено, а то ребенок угрюмый родится, а кто на свет идет – тому надо жить и радоваться».

Вокруг на огромном пространстве звенела тишина, лишь одна-единственная дорога вела взор вперед. Будущая мать прибавила шаг, но думы, чаще всего тревожные, наваливали на нее снова и снова. В длинном шугае идти неудобно и тяжело, но, слава Богу, ветер не мог просквозить. На ногах у колхозницы обутки. Так назывались в наших краях легкие полуботинки из кожи, которые шили сами. Хорошо, что мама все умеет делать своими руками. Специально для лесозаготовок пришлось связать две пары длинных толстых шерстяных чулок, как говорила она, «за коленко». Зимой их сразу вместе и надевала. В ту пору редко у кого были валенки, а главное, шерсти не было, ее «отдавали государству».

Что было у нее на душе, когда шла она с тяжелой ношей одна в почти необжитых местах? Скорее всего, в таких условиях всякий спешит засветло дойти до ночлега. Вот наконец-то под вечер улыбнулась маленькими, еле мерцающими огоньками маленькая деревушка Фадюшино, она уже уткнулась в ночную синь. Рано наступает в наших краях ночь с ее ярко-светлыми звездами, тишиной, необъятным небесным простором. В первый день пути прошла со мной мама почти 20 километров. Когда хотела пить, ела чистый снег. Остановилась на ночлег в Фадюшино у незнакомых людей, которые, жалеючи, пустили переночевать женщину на сносках. Уснула конечно же сразу крепким сном, а утром обнаружила, что такие желанные три метра товару кто-то украл из-под головы. Хозяева избы начали горевать вместе с ней и хлопать себя по бедрам.

– Наверное, соседка тяпнула, это она нечистая на руку.

Мама, поняв, что искать потерю бесполезно, «завыла горьким горячим» и начала подвигаться к дому с пустыми руками. Хоть слезами горю не поможешь, но повоешь – легче станет. «Кто взял грех на душу, пусть с ним и живет», – рассудила она.

Второй день пути был более тревожный, чем первый. Начала ныть спина, очень хотелось есть. За украденный товар ее даже не попотчевали, как следует. Дул легкий ветер, поземка переметала дорогу. Мороз бодрил, румянил щеки, щипал. Кончики пальцев рук и ног начали подмерзать, так как идти быстрым шагом не было сил. Мама не знает еще, кого несет под своим сердцем: сына или дочь. Сын – это хорошо, в наших суровых краях жить с сыном легче. Будет

дрова на зиму припасать, рыбу ловить, но ей хотелось дочь, она ближе к матери. Будущая наша жизнь вся на воде вилами писана, до этого еще много воды в Туре утечет, надо сперва благополучно разрешиться, а теперь до деревушки Старой Шишкиной дойти. Там жила мамина родная сестра Матрена, пятью годами старше. «У Моти и передохну», – подумала она. Но, пройдя час-другой, ей нестерпимо захотелось полежать, а потому пришлось по пути зайти к знакомым в деревню Моторина. Добросердечная хозяйка дома приветливо встретила женщину.

– Опнись¹, Лизуха, ты ведь не простая идешь, с ношей. Полежи на лавке.

И хозяйка предложила под голову непрошеной гостье подушку. От тепла, приюта наша путешественница разомлела и быстро заснула. Когда проснулась, ей предложили поесть «что Бог послал». Завязался разговор.

– Откуда и куда ты качаешься и не боишься, что дорогой прихватит?

– Мне на неделю декрет на лесозаготовках дали, вот и продвигаюсь к дому.

Хозяйка тем временем внимательно посмотрела на маму.

– Ты ведь первородок и еще ничё не знаешь, а мы, бабы, народ терпеливый да безответный, не зря ведь пословицу придумали: «Куда черта не понесет – туда бабу надо послать».

Мама с этим согласилась:

– Так оно и есть. Вон у меня товар из-под головы утащили и хватай-имай, я ничё и сказать не могла на это.

– Ага. В твоём положении всем попустится, лишь бы самой заживо ноги унести. Наплюнь уж, Лиза, на товар, береги свою кровиночку – ее тебе уж недолго осталось нести. Верю, не дай Бог никому на худого человека натакаться. Худого человека не научишь. Идет такая война, горя да слез в каждом доме, хоть отбавляй, забот – полон рот, а тебя еще и свои нагнут. Ладно, не страдай, Лиза, переживем, не это еще люди переносят. Зато много трудодней, наверное, заработала?

– Там много не заработаешь, лишнее не запишут, да кормил нас колхоз. Везде ведь счет да выкладка. Нормы на трудодень высокие, еле я их выполняла с брюхом-то. А будь что будет.

Вспомнили еще десятников, которых понужать да шпиговать «нашего брата не учи, они на том коне сидят...». Хозяйка в беседе не спускала глаз с гостьи и смекнула, что ее пора выпроваживать из дома.

– Иди, Лиза, с Богом засветло к сестрице, а то дорогой прижмет, не дай Бог, чё тогда станешь делать? Вся жизнь насмарку пойдет, да не одна.

Марья перекрестила маму и с опаской отправила за порог. Вечерело. Мама вздохнула, перекрестилась: хоть бы дал Бог благополучно до сестрицы Матрены добраться.

– Мотя у нас хорошая, и Тихон, ее муж, – председатель другого маленького колхоза, мужик умный и рассудительный, хорошо меня примут, знаю.

Она шла медленно и пыталась представить свою дальнейшую жизнь. В сложившихся обстоятельствах ничего хорошего не сулила ей судьба. Ей отлично виделась обреченность на вечное одиночество. Будущая роженица глубоко дышала. Тяжелые думы одна за другой наваливались на нее. Она уже чувствовала, что эта война возьмет Серафима. Вечно бывает так, что в глубине любви познается и час разлуки. «Серафим молодой, неопытный. Не такие мужики головы сложили, вон сколько в деревне похоронок получили, а по душе уже не найдешь, и буду я без любви, заботы одна вековать. О нет, сейчас уже не одна». Ребенку как будто передались ее мысли, он дернулся, начал вести себя беспокойно и мешал ускорить шаг. «Видно, мерзнет, – решила она, а сама продолжала разговаривать с собой: – Вот рожу, и в небе новая звезда вспыхнет. В нашем селе издавна считали, что если человек родился, то на небе загорелась новая звезда, а если умер – погасла». Помню, как часто смотрела я на небо и думала: а где там моя звезда?

¹ Опнись – остановись, сядь посиди, отдохни.

Итак, мама все еще идет одна по лесу. К вечеру мороз усилился, подул ветер, нагнал черных туч и вконец перепугал одинокую женщину в тягостях. «Надо продвигаться быстрее, – приказывала она себе. – Хоть бы успеть до темноты в Шишкину доползти. Там переночую, а уж завтра, Бог велит, буду дома». Неожиданно белым пухом повалил снег, впереди ничего не стало видно, только одна белизна кругом. Тут останавливаться нельзя, в таких случаях можно у родного дома закружиться и заплутать. Хорошо, что до деревни рукой подать. Неожиданно деревня стала подавать свои житейские зимние звуки: скрип полозьев саней, цоканье копыт лошади, визг пилы.

Ей хотелось распрямить спину, а еще лучше – лечь, она уже видела, что живот опустился низко. А вот и огни старошишкинских избенок. Она неторопливо занесла себя и свою ношу в дом. В печи трещали дрова, было тепло и уютно. Сразу после ужина ей нестерпимо захотелось спать. Ночью ребенок начал вести себя беспокойно, видимо, просился в этот мир. Какое-то время сон не шел, и она стала перебирать в памяти женские имена: «Если будет девочка, то назову ее Руфой или Розой». С именами другой половины человечества не успела определиться, ее свалил сон.

Утром к ней обратился с просьбой Тихон:

– Лиза, подлатай мне сеть. Давно на тебя надеюсь. Ну-ка, щука крупная ушла, сеть всю испортила, зубы у окаянной острые.

Мама охотно взялась за эту работу, она была когда-то для нее привычной. Все рыболовецкие снасти знала, но обнаружила, что руки ее загребели и отвыкли от женского дела.

Вскоре спина и низ живота нестерпимо заболели, и она беспокойно заходила по избе. Родившая к тому времени девять детей Матрена бегом помчалась в колхозную контору за подводой. Враз к дому подъехала лошадь, и будущую мать срочно посадили в розвальни. Ее повезла бойкущая молодая женщина, и тоже Лиза. С перепугу она быстро погнала лошадь, ударив ее вожжами.

– Ничего, Лизуха, не бойся, не стрясу, так далеко увезу. Зимой люди крепкие рожаются.

Лошадь понеслась во всю прыть и на повороте к Ленску вымахнула маму в сугроб.

Лиза повезла беременную сразу в медпункт, в котором была родильная комната. Рожениц там не было. Акушерка Роня, эвакуированная из Ленинграда, да наша односельчанка Татьяна Константиновна, санитарка, тихо беседовали у натопленной печки. Маму еле-еле ввели и сняли верхнюю одежду, не успели даже надеть на нее все казенное, как она благополучно освободилась от бремени. Ребенок был в рубашке. Сразу нельзя было понять, девочка это или мальчик. Разорвав рубашку, Роня радостно воскликнула:

– Лиза, какая у тебя будет счастливая дочка!

А Татьяна Константиновна тут же спросила:

– Какое имя дашь дочери?

– Руфа или Роза.

– Собачьи имена! – гневно произнесла острая на язык и прямая в высказываниях Татьяна. В селе она слыла женщиной с твердым характером и крутым нравом. – Я тоже принимала роды, вот и нарекаю ее Татьяной. Таких Татьян надо чтоб на свете было боле.

Что она имела в виду, говоря эти слова, мама не узнала, а, как всегда, по своему обыкновению, перечить не стала, а только призадумалась. У нас в селе, и правда, все Татьяны славные, пусть будет еще одна. Имя хорошее, можно по-всякому назвать: Таня, Танюшка...

Слава Богу, что успела дойти, а то бы на лесозаготовках родила и загубила бы, наверное, дочь. Вот только прискормно, что семь дней не отдохнула. Человек родился у Шестаковой Елизаветы Харитоновны в 6 часов вечера 27 декабря 1943 года в селе Ленское Туринского района Свердловской области.

Она быстро пришла в себя и даже пожаловалась женщинам, как крепко кто-то подшиб ее в Фадюшино с товаром.

– Хорошо, что еще топором не зарубили за эти три метра, оставили душу на покаяние.

Такие вот были времена. Прожив долгую жизнь, мама так и осталась равнодушной к деньгам и собственности, а вот эти украденные три метра ситца всегда жалела и всякий раз говорила при этом, что от пули можно укрыться, а от угрызений совести никуда не убежишь.

Татьяна Константиновна, как только мама оклемалась от родов, тут же подошла к ней: «Ты ведь у нас, Лиза, от скуки на все руки, давай-ка вяжи носки, нечего разлеживаться». Что мама и сделала, уважила Татьяну. На третий день после родов роженицу отправили домой, точнее, в нижний этаж когда-то двухэтажного, родового гнезда, ставший к тому времени полуподвальным помещением. Верхний этаж нам уже не принадлежал, его продали в войну сельсовету от большой нужды. Деньжонки быстро проели. Сейчас там временно жили эвакуированные из Ленинграда.

Мама рассказывала, что закутала меня в старое тряпье, а сверху в изношенную шаль и вошла со мной в низ. Дома положила в зыбку, висевшую на гибком длинном шесте, один конец которого упирался в дальний угол потолка низа. В избе было холодно и грязно, вода в кадочке и ведрах покрылась тонкой корочкой льда, а тут еще оказалось, что печь дымила. Стены низа были прокопченные. Хлеба – ни крошки, даже горсть муки не найдешь. Потом обнаружила, что дров не было ни полена. Тут она беспомощно села на лавку и тихо заплакала. Как говорится, худо тому, у кого нет ничего в доме. Так началась наша семейная жизнь под названием «двое после войны». В таких обстоятельствах человек идет к людям с протянутой рукой.

Она знала, что ни у кого ничего лишнего нет, у каждого своя семья, много не выпросишь, но все же надеялась, что мир не без добрых людей. Соседи дали, как говорится, кто что мог. На другое утро мама пошла к моему родному деду по отцу Егору Демидовичу Шестакову, он был тогда председателем нашего колхоза «Красный пахарь». На ее просьбы о помощи он ответил, что скоро будет Пленум сельсовета, там и будем решать этот вопрос, а пока «возьми котелок да иди к Марфе, может, она чё и даст». Марфа Никифоровна была его женой.

Ей врезалось в память, как перед возвращением в Ленинград к нам вниз зашла Роня, принимавшая первой меня в свои руки от Бога. Роня, войдя в избу, села на лавку и напутствовала на прощание маму:

– Бейся из последних сил, Лиза, но расти дочку. Много сейчас одиноких женщин, не тебя одну эта участь настигла. Ты, главное, дочку учи, воспитывай, а потом, кто знает, может, будешь гордиться ею всем на зависть, а себе – на удивление. Лучшей жизни еще долго не будет. Главное сейчас – не терять надежды.

На что мама ответила:

– Ничего, Роня, живы будем – не умрем.

Глава 2. Гуси-лебеди

Война надолго изувечила наше село. Она отняла у всех радости жизни, а оставила взамен горе, слезы, испытания. Она поселила в каждую избу голод и тревогу.

Особенно тяжело приходилось женщинам. Они выполняли непосильную для них работу. Дети в семьях ушли на второй план. Которые дети были постарше, зачислялись в помощники, а то и хуже: каждый ребенок – это был рот, а его надо кормить. Каждый рот был на счету. Особенно тяжело было в тех семьях, где кормилец не вернулся с войны, оставив дома ораву детей да очень старых родителей, их надо было допаивать, докармливать «до края». Нередко в таких случаях матери говорили в сердцах: «С рук, с ног съели меня совсем», а после смахивали слезу и добавляли: «Прости, Господи».

Еще в детстве я поняла, что в жизни страшнее голода, холода и униженного состояния нет ничего. Наша семья состояла из двух человек, я и мама, без собственной крыши над головой. Мы довольно долго жили вместе с теткой Марией и ее сыном Яшкой, который был старше меня на 10 лет. Тетка Мария была женой не вернувшегося с войны брата мамы, Петра. Она всякий раз напоминала маме, что мы всего лишь ей квартиранты, потому командовала, понукала, как хотела, но угодить ей было почти невозможно. «Хоть масла на голову лей, для нашей Марии – все вода», – подчас говорила мама. Однако тетка шла за советом только к маме, ценила ее за золотые руки. Да мы и перебивались мало-мальски только благодаря ее рукам. В селе мама слыла первой рукодельницей, но в войну это ушло на второй план.

Надо сказать, что всем тогда было несладко. Помню, как от недоедания и непосильного труда случилось с теткой Марией что-то неладное: стала она беспорядочно бегать по избе, хватать и бросать все, что попадет под руку, а пол и вовсе не могла путем вымыть – тут помоеет, убежит, в другом месте помоеет, тряпку не отожмет, воду расплесчет, а потом и вовсе упала на пол и зарыдала.

«С ума сошла наша Мария, но ничё, вот станет наедаться, отойдет», – сказала мама.

В колхозе денег не давали, а давали пайки. Это несколько килограммов муки. Из нее пекли в основном лепешки на воде. Мука была плохая, лепешки получались невкусные, в рот не лезли. Чаше всего делали заваруху: сначала муку растворяли в небольшом количестве воды с солью, после заливали кипятком, тщательно помешивая. Так муки расходовалось меньше, и ее можно было растянуть от пайка до пайка. Иногда делали галушки из ржаной муки, случалось, вместе с отрубями. Это маленькие комочки теста, которые бросали в сильно подсоленную воду. Мама добавляла туда мелко нарезанный лук, «чтоб ядреней было на брюхе». Галушки – это все равно что праздник в доме. Остатки этого хлеба выпивали через край из алюминиевого блюда, одного на двоих. В конце трапезы все вылизывали до блеска так, хоть не мой посуду. Ели все, что было мало-мальски съедобное. Вся надежда была на картофель, но его берегли на посадку, ели экономно. В сильные морозы он нередко у нас внизу промерзал, и тогда мы садили картофельные очистки.

Главная беда тогда состояла в том, что меня не на кого было оставить. Так, без яслей, садика, бабушек, с первых минут жизни я была предоставлена сама себе. К той поре мамина мать, а моя бабушка Таисия Ивановна, видная в округе повитуха, умерла от голода. «Только трубочкой была она сыта», – рассказывала мне мама. Вспоминая мой грудничковый возраст, мама всегда со слезами на глазах говорила, что я тогда «на привязи сидела». Это означало, что оставляла она меня одну на большой русской печи, при этом привязывала на длинное полотенце к трубе и, по возможности, прибежала с работы проведать. Другого выхода у нее не было. Шла война. Руки в тылу нужны были в первую очередь.

Как-то раз она обнаружила, что я сползла с печи и болталась на полотенце уже голубая, не имея сил плакать. Мама зарыдала, проклиная войну, немцев и колхоз. До трех лет я питалась только материнским молоком, но росла рахитичной, как большинство детей тогда.

Вспоминая то время, мама часто повторяла, что «она ходит с той поры, ровно тень». Говорить я начала рано, подражая взрослым, называя маму Лизунышкой. Это я отлично помню. А вот ходить начала только в три года с лишним. Помню, это было перед весной. Иван Романович из деревни Березовая, которая стояла за рекой, только что вернулся с фронта со своей женой и маленьким сыном. Сынок лежал в корзине, оттого его ласково называли «малинка в корзинке». Жена Ира называла мужа «русский Иван», а он ее ласково «моя евреечка». На какое-то время они остановились в нашем низу – жить им было негде. Кто пустит на житье целую семью? Только самые бедные. Квартиранты у нас беспрестанно менялись из-за жизненных неудобств: теснота, темнота, холод, тараканы, спертый воздух. Помню постоянные ругачки в детстве. Они вспыхивали мгновенно. Война нагнала в наше село всякого народу: тут и эвакуированные, и репрессированные, сосланные на поселение, просто бежавшие в поисках жилья, работы и лучшей доли. Все сбились с проторенного жизненного пути. Помню, как Иван Романович поставил меня на ноги, показал маленький кусочек немецкой копченой трофейной колбасы, вкус которой я помню и сейчас, а после поманил к себе. Так я пошла. Росла и крепла я медленно, от недоедания ноги плохо меня слушались. С большим трудом забиралась на лавку и подолгу глядела в окно. Редко кто-нибудь из прохожих потчевал меня корочкой хлеба.

Отчетливо помню, как мимо нашего дома по улице бескончаемо тянулись пленные... Их вели дальше на север, на лесоповал конвоиры с собаками. «Незванный гость хуже татарина», – говорит русская пословица. Долго еще в селе обсуждали это событие, и я слышала, как говорили односельчане: «Будь они прокляты, так им и надо. Пусть померзнут в наших снегах, вот тогда узнают нагую бабу в крапиве».

На улице увидишь многое. Кого из детей не привлекала она? Всего интереснее глядеть на тающие облака, греться на солнышке, ждать тепла и наблюдать, как в загородке перед домом распускается сирень. Каждый прохожий глядит на нее, как на невесту, тут и мне было внимание.

Помню, когда мне шел пятый год, пришла к нам на беду неприятная весть: старшая сестра мамы – кока Крестина, как она ее называла, упала с высокой лестницы и зашиблась. (Тетка жила в селе Жуковское, или по-нашему Жук.) Ноги ее перестали ходить, был поврежден позвоночник, и фельдшер настоятельно велела парить ее всю в хвое длительное время. После неведомых для меня переговоров с членами правления колхоза мама пошла к сестре на несколько дней, а меня оставила на тетку Марию. Это событие я связываю с первым сильным впечатлением раннего детства. Я сидела одна у окна в избе, на лавке и ждала маму. В это самое время неожиданно грязный колхозный боров сильно ткнулся мордой в окно. С перепугу я упала с лавки и с этого момента перестала говорить. Маму каким-то образом вызвали домой из Жука. Идти ей надо было 12 километров. Пришла она вечером и, увидев меня, разрыдалась, потом дала гостинец, но я не заговорила. На другое утро повела она меня к соседям. Была у них бабушка Авдотья Ивановна, сухая, как костыль, с бородавкой на самом кончике носа. Немного словная, работающая, приветливая, с очень пронзительным взглядом, она всегда производила на меня впечатление доброй волшебницы.

– Авдотья Ивановна, поладь Таню от испуга. Ну-ка, борова испугалась и говорить перестала, а как хорошо рассуждала, – прослезилась мама, обратившись к бабушке.

Первым делом бабуля велела маме выйти из избы, а меня положила на лавку прямо под матку (так называлось большое несущее бревно на потолке). Долго гладила меня, что-то тихо шептала, очень часто крестила и все время просила смотреть на нее. Не отрывая глаз от ее бородавки, я незаметно уснула, а проснувшись, она поинтересовалась, не болит ли у меня голова. Сказать я не могла, а лишь мотала головой.

Раз за разом она колдовала надо мной все дольше и дольше: шептала молитвы, крестила, гладила, просила целовать крест и пить святую воду. Не знаю, от ее ли стараний или повышенного внимания ко мне, от ласковых ли ее рук, но я вновь заговорила. Напоследок бабушка посадила меня рядом с собой на лавку, погладила нежно по голове, дала кусочек пирожка с морковкой и тихо сказала слова, которые я запомнила на всю жизнь:

– Никого не бойся, Таня, и людей не бойся. Хороших людей боле, чем худых.

Я еще не могла задуматься над смыслом этих слов, но крепко их запомнила, и каждый раз, когда бабуля меня голубила, она внушала эту мысль. Обязательно потчевала и легонько подталкивала к двери. Мамина сестра продолжала болеть. Трудовая дисциплина в колхозе была жесткой, даже жестокой, но маму отпустили полечить сестру и на другое лето, так как муж сестры Иван был участником Великой Отечественной войны. Его комиссовали после контузии досрочно. На этот раз мы пошли вдвоем.

Дорога для нас оказалась очень длинной. Я быстро уставала и просилась к маме «на крошки», то есть на спину. Обхватывала ее шею руками, а она придерживала меня сзади. Помню, было очень жарко, мы часто садились отдыхать на обочину дороги. Пройдя больше половины пути, надо было брести через «сметанку», так назывался длинный участок дороги с жидкой глубокой грязью, который просыхал только в очень засушливые годы. Наши места болотистые, низкие. Мама несла меня осторожно, приговаривая:

– Хоть бы не нахлебаться. А ведь все, Таня, кусок хлеба гонит.

Мама всю дорогу рассказывала про Ивана. Я тогда еще поняла, что она его не уважала за дурной нрав и барские замашки. Они в деревенской жизни всегда отторгались.

– Люди за Родину голову кладут, а он уж в начале войны как-то отвертелся, герой.

Мы подошли к жуковскому мосту и сели отдохнуть. Идти оставалось уже немного. Кругом ни души. Тишина летом в жару убаюкивает, вот только овод не дает покоя. От него нет никакого спасу. Вдруг из-под моста внезапно выходит к нам оборванный, худой и грязный мужчина и, глядя на маму в упор, спрашивает:

– Тетка, есть хлеб? Дай.

Мама моя была боязливой женщиной, склонной уходить от сомнительных людей и конфликтов. Единственным оружием ее за свои права были слезы. Вот и на этот раз она тихо заплакала, приговаривая от испуга:

– Сама-то иду с девчонкой к сестре за милостыней, овод уж обоих сожрал, ноги пристали, спина отнялась, дочь всю дорогу на себе несу, из сил выбилась... Пойди посуди: где в колхозе хлеб?

Он прервал ее грубо, одной фразой:

– Обо мне в деревнях никому! Молчать! – и побрел прямо по кочкам в лес.

– Наверное, беглый колонист, скрывается. А зачем мне языком болтать? Живи он, как хочет. Слава Богу, нас живыми оставил, добрый попался, а то, поди, и сам пострадал ни за что.

Мы торопливо пошагали дальше.

Все предсказания мамы сбылись. Контуженный Иван не давал нам покоя, особенно ночами. Он бегал по избе и истошно кричал:

– Танки идут, самолеты бомбят, а ты, Лиза, иди стряпай мне блины!

– Пошел ты к черту, я не Кока, надо мной изголяться!

– Стряпай! Приказ даю!

Тут Иван начинал бить поленом по полатам, на которых мы спали. От этого я просыпалась, но не боялась Ивана. Думала, что ему нас не достать – полати были приделаны к самому потолку в конце избы.

– Надо будет полено нам с собой класть, Таня.

Что мы и делали.

Однако и днем было не лучше. Днем у мамы была прорва работы: ухаживать за домашним скотом, лечить сестрицу не где-нибудь, а на русской натопленной печи в сильнице (это круглое большое железное корыто). Огромная кирпичная печь стояла, раскорячившись, посреди избы.

Но самым тягостным и унижительным было для мамы при виде Вани, входившего в ограду с пихтой, отправлять меня «подальше с его глаз», тоже на горячую печь. Это ли не пытка? Иван патологически меня ненавидел, но есть не запрещал, хотя кормили меня одну (по его указанию) на печи, за стол не сажали. Поначалу мама мирилась с этим: чего не сделаешь ради того, чтоб дитя было сытым? Как-то раз мы услышали от Ивана: «Объели нас совсем, ведь вас двое». Эти слова были последней каплей в нашей чаше терпения.

– Почему он меня ненавидит? – спросила я маму.

– А потому, что у них с Кокой нет дитя. Она много рожала, даже двойню, но все дети умирали, вот они и зарятся на тебя, а мне завидуют. Не для дружка, а для своего брюшка живут.

Мама не вынесла всех издевательств и при ее терпеливом характере совершила отчаянный поступок. Мы собрались, и, перед тем как уйти домой, мама с порога резко заявила:

– От вас только кусок в горле застрянет. Не отпрашивайте меня опосле из колхоза, там хоть над дочерью так не изгаляются, как здесь.

Зимой тетке Крестине стало легче, и она выслала с кем-то старое потертое байковое одеяло темно-синего цвета в благодарность за все труды. Мы возвращались в Ленск. На обратном пути нам повезло: мы встретили попутную лошадь и уселись на телегу. Лошадь шла ровно и тихо, а после удара вожжами побежала рысью. Телега загромыхла, нас трясло на проселочной дороге. Завидя издали деревянную высокую ажурную конусообразную башню, мы заулыбались. Это была когда-то геодезическая вышка, стояла она на самом краю нашего села и для путников служила опознавательным знаком. Бревна ее уже изрядно прогнили от времени, и даже самые отчаянные головушки из сельских ребятишек не лазили на нее. Башня придавала селу неповторимый вид, служила его украшением, а потому все любовались ею и даже втайне гордились: на всю округу такой больше не найти. Но пришла пора, и ее разобрали за ненужностью, а еще и потому, что она от старости могла рухнуть в любое время. Село сразу стало приземистым и затерялось в пойме реки Туры среди полей и кустарников.

– Видишь, Таня, башню? Там – наш Ленск. Куда завтра нарядит меня бригадир на работу? Если пошлют в курятник, то ты ко мне не ходи, там петухи клевачие.

Неужели целый день глядеть в низкое оконце, когда на дворе прекрасная погода? В наших краях это дар природы. Разве усидишь, хоть ты и маленькая, и рахитичная?

В один из погожих дней пошлепала я вдоль села по большаку и увидела, как стая домашних гусей медленно шагала от маленького озера в центре села через дорогу. Домашние гуси людей не боятся. Они ковыляли важно, вразвалочку, не представляя никакой опасности. И вдруг какой-то бес погнал их. Они вытянули шеи и с шипом, все разом погнались за мной, хлопая крыльями, облепили меня со всех сторон и начали щипать изо всех сил за ноги, спину, живот. Я закричала, упала от боли на дорогу, зарыдала. Проходившая мимо женщина подхватила меня на руки и понесла домой. Помню, как она гладила и утешала меня.

С той поры еще долго я боялась гусей и бежала от них со всех ног по деревне, завидев издали. Чуть позже, прочитав сказку «Гуси-лебеди», я волновалась, как бы они не подхватили и не унесли меня «в темные леса». Помню, что после работы мама оборачивала меня мокрым платком, плакала надо мной и молила Господа помочь нам все перенести и выжить. На самый черный день берегла она свое рукоделье: кружевные скатерти, подзоры, вышитые полотенца... Черный день настал. Решила мама все это отнести заведующей детским садом, чтоб та взяла меня на какое-то время в детсад. Денег у нас не было.

– Пять лет сидишь ты одна без догляда. Разве так можно? Это хорошо, что Бог несет, а ведь все до притки². Ну-ка калекой останешься! С колхоза нет спросу, виноватых не найдешь. Руки мои никто не отнимет, они с шести лет все делать учились. Опосле навяжу и тебе, Таня, всего. Будет же на нашей улице праздник... – приговаривала мама и доставала из сундука свое богатство.

За все ее рукоделие зачислили меня в садик на два летних месяца. Кстати сказать, так и не довелось маме навязать мне кружев... Ни продавать, ни покупать она не умела. Была слишком доверчивой и даже наивной. Еще задолго до моего появления на свет, когда пошли колхозы, а наше село голодало, понесла она фамильное рукоделье на базар в город Туринск, за сорок километров от села, по бездорожью продавать или менять на хлеб, но ее там мгновенно обчистили, выхватив прямо с руки самые красивые вещи, а она и не заметила. «Завыла я, да вернулась домой с пустыми руками», – рассказывала она мне.

² *Притка* – несчастный случай.

Глава 3. Матушкина услуга

В годы моего детства особую нужду испытывала мама, как и все односельчане, в медицинском обслуживании, оно было плохое и очень плохое. Чаще всего обходились своими силами, прибегая к помощи знахарей, бабушек, соседей или надеясь на собственный опыт. У моей мамы главная надежда была на Бога. Нередко она так и говорила: «Без Бога – не до порога».

Помню, когда я внезапно сваливалась с высокой температурой на лавку или на печь, мама, придя с работы, тут же шептала молитву на чистую воду в чашке, бросив в нее горящий уголек, а когда он остывал, давала мне попить, просила помочить голову и грудь.

– Вот увидишь, хворь сразу как рукой снимет. Опять тебя изурочили. Нет ничё хуже сглазу. Давай-ка поглажу да попричитаю: «Не я тебя правлю, не я тебя глажу. Правила-гладила бабушка Саламанида. Шла из-за синего моря, несла доброго здоровья рабе Божьей Татьяне. Выскакайте, выпрыгайте, все скорби-болезни. Направь, наглядь по-старому, как мать поставила...»

Мама настолько верила в чудодейственную силу молитв, что с ними растила моих детей. Верила в сглаз, приметы, гадания... во все сверхъестественное. Бабушку Саламаниду помнят до сих пор наши дочери. А что остается человеку делать, когда не на кого надеяться?! Без молитвы в то время едва ли можно было представить жизнь любого россиянина.

Наш дом стоял в самом центре села. Напротив, через дорогу, посреди берез возвышалась когда-то деревянная церковь с колокольной. Осенью церковный купол вместе с золотом берез придавал особую прелесть селу. Каждый путник прибавлял шаг, завидя эту красоту. Глядя на нее, душа пела от восхищения, а путник думал о вечном. Мои предки были людьми верующими. Звонил колокол, шли в воскресенье нарядные люди к обедне или на престольный праздник. Здесь, у церкви, встречаясь, обменивались новостями, рассказывали друг другу о своем горе или радости, приглашали в гости. Батюшка наш отец Егорий (в миру Попов Георгий Петрович) вместе с матушкой Елизаветой Александровной жили через дом от нас. Батюшка занимался пчелами и садом, матушка – домом и огородом. Своим прихожанам они никогда не отказывали в помощи. После того как, говорила мама, «на всех нашло умопомрачение и церковь наша пала», они с матушкой никуда от своих прихожан не уехали, а остались тут до последнего своего часа. Нередко мама прибегала к их помощи.

Помню, как после двухмесячного посещения детсада я очень сильно заболела. Фельдшер ленской амбулатории дала маме направление в больницу села Благовещенского в 15 километрах от нашего и строго-настрого наказала везти меня туда, так как я находилась «на волосок от гибели». В колхозе дали старую клячу, запрягли ее в телегу «от царя гороха» и назначили явно ненадежного проводника Ивана. Он был моложе мамы, инвалид с детства. Одна нога была у него короткая, скрюченная и бессильно болталась при ходьбе. Ходил он на двух больших деревянных костылях, они упирались в подмышки. Работал счетоводом в колхозе, был у всех на виду. Иван подъехал к дому, мама вынесла меня на руках, положила на телегу, подстелив свою старую визитку, мою голову положила на свои колени. С собой взяла она бутылку чая с молоком. Молока тетка Мария «плеснула в кружку на донышко». «Чтоб ее дети под старость так кормили», – говорила в таких случаях мама. Бутылку плотно закрыла пробкой, свернутой из старой сельсоветской газеты. Мы тронулись в путь. Это был день, который и теперь у меня в глазах. Такие осенние дни не каждый год стоят в наших местах. Настоящее бабье лето, как окно в природу между летним зноем и затяжной промозглой осенью. Тепло и солнечно. Небо над нами безоблачное, высокое, голубое. Село щедро разрисовано яркими красками осени. Рябины красуются перед нами оранжевыми кистями ягод. Золотые березы не шелохнутся.

Мама радовалась, что Иван согласился сопровождать нас в такую даль, а то «вдруг да чё, не дай Бог, в дороге приключится. Все же с мужиком надежнее. Добрый ты человек, а

доброму человеку даст Бог веку». Она надеялась, что доедут потихоньку да помаленьку, погода нам сопутствовала. Легкий ветерок срывал и уносил листья с сентябрьских берез, они щедро осыпались на землю золотым дождем. Мы попали в большой листопад. Это, говорят, к счастью. Мы ехали, но какая-то неведомая тоска уже поселилась в наши души. Словно в первый раз открывалась для нас красота замолчавшей природы, принесшей в наш глухой край осеннюю тихую грусть. А быть может, было ощущение моей болезни, которая черной краской прошла по оранжевому великолепию. Доехали до околицы и выехали за село.

Мы ехали по изрытому колесами, копытами лошадей большаку. Дорога была в рытвинах и ухабах, избита так, что костыли Ивана, которые лежали рядом со мной на телеге, гремели и обещали вот-вот слететь с нее. Мама их придержала одной рукой, а другую положила мне на горячий лоб и часто предлагала попить:

– Попей, Таня, чаю. Ну-ко, чё это опять случилось с тобой? Как хорошо в садик ходила. Сколь стишков выучила, я нарадоваться не могла, как тебя хвалили: и внимательная, и памятливая, и старательная. Крапивы больше других ребятешек на суп рвала. Надо бы тебя сводить к бабушке Авдотье Ивановне, а я вот в такую даль везу, а зачем, спрашивается?

– Ты, Лиза, знай, что тебя с Таней не положат в больницу. Она у тебя не пеленишна, грудь не сосет.

Я лежала на телеге в одном ситцевом платье, ничем не прикрытая. Лежала тихо и неподвижно. Говорить не хотелось, хотя я была в сознании. Мама с Иваном о чем-то разговаривали. Было тихо и пустынно кругом, только кое-где саполята докапывали картошку. (Саполята – это жители соседней с Ленском деревушки Саполово.) Хлеб на полях был убран, поля отдыхали. Постепенно осенние листья засыплют все: дороги, тропинки, поля. Поля уснут на зиму. Красота этого высокого голубого неба восполняла скудность нашей земли. Я еще никогда не разлучалась с домом надолго, а сейчас не могла отчетливо представить, что со мной происходит. Болезнь сжимала меня, температура поднималась, слова не выходили из меня, я теряла свои силеньки, знала только одно: мама любит меня. Помню, она всегда смотрела на меня с умилением, восхищением и улыбалась, как завидит меня издали.

Сейчас ее печальные большие зеленые глаза угасли, смотрели на меня устало и с тоской. Мне было жаль ее, ведь она всегда казалась маленькой и беззащитной. Когда я болела, а болела я в детстве очень часто, и всегда тяжело, мне было не по себе, я чувствовала какую-то вину перед ней за то, что опять заставляю ее страдать. Разве мало она мучается и живет «ни Богу свечка, ни черту кочерга».

– Таня, если меня не оставят с тобой, так ты не вой шибко, а слушай врачей, да все исполняй, как велют, вот оклемаешься быстро, а как мне сообщат, что ты встала на ноги, так опосле, может, опять с Иваном прибудем за тобой.

Но проводник возразил:

– Не, как поправится, так ногами придется бежать. Лошадь из колхозу едва ли здоровой дадут. Счас и то вон какую доходягу дали, понужнуть нельзя, то и гляди падет, и поминай как звали. Которы лошаденки покрепче, те на работе, а эту хоть на себе тащи. Да ты не горюй, Таня, до невест далеко, все заживет.

Помню, что пила я с трудом, так как не могла глотать.

Оба моих проводника были жалостливы и просили меня крепиться. Мама беспрестанно гладила меня да приговаривала, что будет просить у Бога здоровья и обязательно попробует уговорить врача: может, тот оставит ее на денек со мной.

Телега скрипела все сильнее, трясла нас по шашибарнику³.

Все ждали, что в лесу дорога направится. Но в это самое время телега скрипнула так, что что-то внутри ее хрустнуло, потом раздался глухой звук в колесе, она враз и сильно накло-

³ *Шашибарник* – очень неровная, вся в рытвинах и ухабинах дорога.

нилась на один бок. Угол телеги, где сидел Иван, вмиг осел. Внезапно Иван упал с телеги на землю. Костыли его слетели, я покатила. Мама схватила меня. Проводник выругался громко, посмотрел с земли под телегу.

– Все, приехали, поворачивай оглобли назад. Ось у переднего колеса изломалась. Никуда не уедешь теперь на трех колесах, да в такую даль. Как будем добираться обратно? Не было печали, так черти накачали.

Может, оно и к лучшему.

Мама положила меня на сухую траву у дороги, а сама стала помогать бедолаге. Одно колесо сняли совсем. Дырявая, старая телега сразу набекренилась.

– Так не хотела я ехать, как в воду глядела. И зачем согласилась? Только зря Таню натрясла. Ладно, хоть от Ленска недалеко отъехали. А чё, подладить-то никак нельзя? – Мама вытирала слезы.

– Чё мы с тобой, Лиза, подладим? У нас один не тянет, а другой – не везет. Ране-то и вовсе больниц не знали, а ведь как-то жили люди.

Мама перестала плакать. Знала, что слезами горю не поможешь. Мы все разместились на одном боку, вместе с костылями и большим колесом. Домой ползли еле-еле, дорога казалась длинной, хотя до дому было всего километра два с половиной. Я уснула, наверное, от тряски или от счастья, что буду неразлучна с мамой. Проснулась у дома. Больную внесли на руках в избу и положили на лавку.

– В больницу не пойду, все равно не помогут. Хотели бы помочь, так ране бы помогли, а то отказались, спихнули нас от себя подале. Пойду лучше к матушке Елизавете Александровне. Боле идти не к кому.

Матушка пришла тут же, внимательно обсмотрела меня.

– У Тани свинка. Все дети ею болеют. Только Таня болеет очень тяжело, так как она ослаблена.

Мама тем временем оправдывалась перед ней за то, что снова пришлось потревожить пожилого человека. Матушка годилась в матери моей маме. Это была сухонькая, благородного вида седая старушка с живыми глазами и мягкими движениями. Говорила она тихо, обдуманно, не употребляла в речи лишних слов. Имела приятный голос. Весь ее внешний вид вызывал уважение. Как приятно жить рядом с хорошими людьми! Их сад упирался в наш двор, но мне никогда не приходило в голову забраться в него, да и мама всегда наказывала: «Не вздумай покаститься⁴, Таня. Потом ведь и за помощью не обратишься, стыдно будет. И запомни крепко: нечего на чужую кучу глаза пучить».

Мама пожаловалась матушке, что колхоз дал худую лошаденку, которая сам не знаешь «то ли дорогой падет, то ли довезет».

– Проводник был хороший, я на него не посудачу. Добрый, говорит рассудно, но не могущий мужик, да и неопытный по молодости. Другой бы чё надо, так с собой взял да починил бы ось, а чё с калеки взять? Как говорят, «счастье – на крыльях, а несчастье – на костылях». Такой сам себе не рад. На одной-то ноге далеко не ускачеешь.

Мама, помнится, еще много всего наговорила, а после заключила, что, видно, Богу было угодно не ехать нам в Благовещенск.

– Хоть бы дал Бог оклематься Тане. За ней ведь еще надо смотреть в оба глаза, а я все на работе, не отлучишься. Замордовали совсем, не верят моему положению.

– Успокойся, Лиза. Потерпи. Чем можем, тем поможем.

Матушка приходила ежедневно. Лечила медом, настоем трав, столетником и молитвой. Тем временем в доме всех с утра наряжали на работы. Я оставалась одна.

⁴ *Покаститься* – совершить дурной поступок, замараться.

– То ли смерти нашей хотят, то ли время такое, что после войны никак иначе нельзя, – рассуждала несчастная мать.

Постепенно и благодаря усилиям матушки я поправлялась. В таких случаях понятно, что нужно благодарить за помощь, но мама ничего взамен не могла предложить, когда сама жила «как червь в навозе», и, как всегда, оправдывалась:

– Ты уж извини, матушка, мне нечем заплатить. Мне за тебя не замолить, не запросить у Бога. Сама видишь: горе-то мое не обойдешь, не объедешь. Видно, уж так на роду написано: чему быть – того не миновать.

– Не убивайся, Лиза. Видишь, дочка на поправку пошла. Жизнь всех испытывает. Надо только правильно идти по земному пути. Бог в помощь вам! Когда нужно – обращайся, не стесняйся. Про плату не говори. Лучше помолись за нас с батюшкой.

Глава 4. Крысы, или Печальное событие, которого мы не ждали

Поздней осенью ветер всегда делает властные порывы, дышит холодом и угрожает зимой. Угас голубой взгляд природы, а вместо него царит сплошное стальное небо. Оно низко нависло и угрожающе задумалось над нашим глухим таежным краем: чем бы еще попугать? В такое время наше село принимало унылый и печальный вид. Огня не зажигали, керосина не хватало, спать ложились рано.

Мама уложила меня возле печки-буржуйки на полу. Укрыла, как всегда, моим ветошным пальтишком, оно же служило мне и подстилкой. Тепло печки, натопленной с вечера, «выфуркнуло разом». И вот я уже промерзла до самых косточек, отчего проснулась и не могу уснуть. Холодно и одиноко без мамы, хоть плачь. Ее отрядили на колхозную ферму караулить коров до самой весны. Строго-настрого наказала она мне с вечера не совать носа на ферму.

– Спи у печки, я рано утром прибуду, ты и не заметишь, как ночь пройдет.

Но мне всегда была нужна мама. Наскоро одевшись, легонько прокралась я к двери и выбежала из избы. Знала, что никто меня не хватится, не будет догонять.

На дворе было уныло, природу клонило ко сну. Снег уже пролетал ранее, ложился и снова таял. В наших краях снег имеет права не только на зиму, но и на осень. Я осторожно пробиралась, боясь утонуть в жидкой, как сливки, холодной и глубокой жиже. На улицу хотелось всегда, в любую погоду, но обуви на осеннюю непогоду не было. В такое время без крайних надобностей никто не ходит. Вот и сейчас безлюдно кругом.

Я подошла к ферме. Она стоит на краю села у самого оврага. Старая, низкая, длинная, почти черная от дождей. К ней сбоку в самую середину присунулась избушка для доярок и караульных. Мне надо сюда. Легонько отворила я дверь. Избушка дохнула на меня сыростью, навозом, молозивом. Я увидела перед собой бревенчатые темно-серые стены, низкий потолок и ощутила холод. Прямо на меня глядела печь с встроенным в нее большим металлическим котлом. На стенках котла была рыже-желтая накипь в палец толщиной, отчего трудно было догадаться о его металлическом происхождении. Рядом с печью, с правой стороны от нее, была лавка, а возле лавки стояла востребованная тогда везде печка-буржуйка. Слева от меня и входной двери, в самом углу, стояли алюминиевые фляги, ведра; на гвоздях, вбитых в стену, висели халаты, и над всем этим колхозным добром высоко тянулся длинный шест, на котором сушились куски марли. Через них доярки цедили молоко во фляги. Тут же, у входной двери, висели два металлических фонаря, а на деревянном, кое-как сколоченном столике стояла маленькая, без стекла, лампушка. Такая же лампушка была и у нас дома. Мама называла ее мизюгалкой за крохотный огонек пламени.

В избушке было две двери: одна выходила на улицу, а вторая вела прямо в середину коровьей фермы. В избушке можно было обнаружить вилы, лопаты, литые резиновые сапоги, голики – метлы из голых березовых прутьев. Вдоль стен избушки возвышались прочные, деревянные лавки. Деревянный пол в избушке уже весь прогнил, и половицы ходили ходуном. Мне показалось, что лежали они прямо на земле. Если неудачно встать на половицу, то через большие, разные по форме щели брызнет вверх прямо на тебя навозная жижа, из узких дыр поменьше сочилась зеленая вонючая вода. Два маленьких низких оконца едва-едва освещали убогое пространство избенки.

Зрелище вокруг было неприглядным и даже страшным. Оно отпугивало темнотой, сыростью, запахом, звуками. Казалось, что избушка прогнила насквозь со всех сторон. Тоска и одиночество попеременно с жуткими ожиданиями охватили меня. В полуоткрытую дверь, ведущую на ферму, я слышала, как жалобно мычали коровы, словно просили людей о помощи. Малень-

кий язычок пламени, как единственное одинокое светлое пятнышко, да ученическая тетрадь, обляпанная жирными пятнами, на столике напоминали мне, что здесь есть еще и человеческая жизнь. Вот открылась дверь, и с фермы в избушку с фонарем в руке вошла мама, а за ней медленно, пыхтя, шагала ее напарница – Прасковья. Она была тощая, с серым лицом, одетая тоже в серые ремки⁵.

– Это ты, Танюшка? – спросила она тихо и удивленно. – Как это ты в такую темень одна пришла? Чё, дома-то без матери не спится?

– Я. Мне без мамы дома на полу холодно и есть хочется.

– Ага, где холодно, тут и голодно. Ложись на лавку у печи. Сейчас мы с Лизой все затопим, тепло пойдет.

Прасковья говорила сдавленно и сипло.

– Я ведь как упрашивала Таню не ходить ко мне. С вечера еще наказывала, – оправдывалась мама.

– Мне тоскливо, я закоченела вся.

Четко и твердо выговаривала я слова, глядя прямо в мамины глаза. Этим приемом я всегда пользовалась в детстве для доказательства своей правоты.

– Ладно, не гони ты, Лиза, ее от себя. Маленькая она еще, ей мать нужна. Сама знаешь, что нынче мы и летом не успели согреться.

Лето обманывало нас очень часто. Его так долго ждешь, а оно стоит иногда не более трех недель.

Здесь у печки мне было гораздо теплее, чем дома в низу, хотя нас там было «битком набито», как семечек в подсолнухе. Буржуйка в избушке нагревалась. Свет в фонарях погасили: надо экономить керосин. Его давали и здесь строго по норме. От маленькой коптилки на столике света было столько, чтоб не наткаться друг на друга. Затопили печь с большим котлом, наполненным водой. От огня пробивались язычки света и плясали на стене. Пошло тепло, я села на лавку у печки.

Ночь вступила в свои права. Напротив меня, на лавку у стены, медленно опустилась Прасковья. Внутри у нее подсвистывало и подхрипывало, она дышала не глубоко, а чуть-чуть захватывала воздух. Сдавленно и тихо она предложила нам «маленько уснуть», мне же посоветовала залегать на всю ночь, потому как я «вольный казак», это они с мамой на карауле. У теплой печки сразу на меня навалилась дремота и увела в царство сна. Тишина холодной ночи обуяла ферму и избушку со всех сторон. Всю ночь спала я на голой лавке, подложив под голову свое пальтишко, а ранним утром проснулась от прикосновения мамы:

– Вставай, дорогушка, пойдем домой, кончили смену.

За ночь комья грязи смерзлись, и к утру дорога была в колдобинах. Мама вела меня за руку и говорила, куда мне ставить ноги. Мы медленно продвигались к дому, еще не проснувшись окончательно, и мечтали, что дома вместе с мамой доспим на гопчике⁶. Бисер инея лег на деревянные крыши, рассыпался на промерзлую за ночь землю. Деревня просыпалась: то тут, то там валил из труб дым. Деревья в селе стояли нагие и казались мне нищими, промерзлыми, как и мы сами. Потом будет морозить не только ночью, но и днем, небо начнет сыпать непрерывно, щедро белый пушистый снег, станет все кругом белым-бело. Вот так и пожалует к нам надолго зима.

Я шла и очень хотела есть. Ощущение голода и зимы было постоянным и мучительным. В такую рань в деревне стояла тишина, только слушать ее мешают мамины кирзовые сапоги. Они ударяли на дороге о мерзлую землю, а ветер усиливал эти звуки. Нас уже пробрало насквозь. Мама посмотрела на меня и на себя.

⁵ Ремки – старая, поношенная одежда, обноски, лохмотья.

⁶ Гопчик – деревянный высокий настил рядом с русской печью.

– Боже праведный, да в такую погоду только дома на печи лежать. Не гоняйся ты за мной, прошу тебя.

Но вопреки запрету, в очередной раз я шагала на ферму. Был зимний вечер. В избушке у караульных будет мне тепло, не то что дома на полу. После меня отворилась дверь, и, тяжело дыша, вошла Прасковья, а с ней забежал ее младший сын Илюшка, лет десяти. Я знала, что, как и мама, она была вдова погибшего, а с ней одной было четверо детей. Мама часто спрашивала ее при мне, как она управляет с такой оравой. Прасковья жаловалась нам, что замучила ее совсем одышка, а тут еще ветер такой, что хоть умирай на дороге. Вот привела с собой Илюшку, чтоб меня караулил.

– А еще хочу, чтоб он в котле помылся, как вода в нем нагреется, – виновато пояснила она. – Зачичерел он совсем, да и все мы обовшивели, Лиза, до самой крайности.

Напарница тяжело сипела, глотая воздух, ей как будто все время его не хватало. Потом перевела дух и села к теплу.

– Этого добра и у нас хоть отбавляй, – пооткровенничала с ней мама и сплюнула в руку.

Вскоре Илюшка залез в котел, начал нырять и тереть себя. Он фыркал от удовольствия, разбрызгивал всюду воду. Наголо стриженная его голова блестела. После такой «бани» Прасковья носила с улицы снег в ведрах и засыпала его в котел, чтоб пополнить в нем воду. Вскоре женщины пошли на ферму проведать коров. В открытую дверь было слышно истошное, душе-раздирающее мычание коров. Казалось, что они раздирали на части наши сердца.

– Ой, Лизуха, корова, знать-ко, телится. Поторапливайся, нам бы отел не потерять, а то скажут, что мы проспали, и тогда без суда запечатают нас в каталажку.

Мама поспешила надеть литые тяжелые резиновые сапоги и схватить фонарь. Корова мычала так, что внушала нам страх за ее жизнь. А как не орать? У нее для отела не было сил. Всех коров колхоз заморил, кормов на зиму не хватало, они истощали и обессилели от недоедания. Женщины ушли и долго не возвращались, но вот дверь отворилась, и испуганная мама скомандовала мне:

– Бегом за мной! Будешь нам фонарем светить.

На ферме было грязно, сыро, скользко, темно. Лежали неубранные кучи навоза. Свет едва проникал в узкие, длинные оконца почти у самого потолка. «Это чтоб коровы рогами не попали», – подумала я. Эта полутемень со страшным мычанием приводили меня в ужас.

– Свети, Таня, на меня.

Огонь мигал в фонаре. От увиденного я чуть не обезумела. Теперь я уверена, что не обо всем можно писать. Корову гладили и уговаривали женщины, как ребенка. Я закрыла глаза, сжалась в комочек и отвернулась. Хотелось убежать и не возвращаться. Мое сердце стучало, как барабан. В нос ударял нестерпимый запах. В этом удушливом коровнике у маленькой девочки смешалось все: голод, холод, вонь, грязь и проклятая война, о которой столько говорят и из-за которой мы все еще страдаем и будем еще долго ее ненавидеть. Меня мутило, и было так страшно, что не передать.

– Иди, Таня, в избушку и ложись спать у печки, – сказала мама, утирая слезы и подвывая.

Илюшка уже посапывал, огонь в печке догорал, воцарилась ночь. Помню от волнения, перепуга мне не спалось, я ждала маму, пытаюсь побороть страх, отчего крепко зажмурировала глаза. Я уже засыпала, но вдруг меня разбудили странные звуки и шорохи, они раздавались по всей избенке. Я содрогнулась. На стенах избушки метались то тут, то там страшные тени от животных с хвостами. Это был не сон, это была явь. Да, это были жирные, хвостатые крысы. Они бегали по лавкам, по столу, по полу. Илюшка вмиг проснулся, вскочил, бросил в одну из них подвернувшееся полено и крикнул в мою сторону:

– Сиди возле печки на лавке, не слезовой, они на человека бросаются, а огня и света боятся.

Тут он подбросил бересты в печку. Береста затрещала и усилила пламя. Злые, свирепые грызуны бросились врассыпную и стали скрываться по норам. Нор в избушке было великое множество, видно, все углы продырявили грызуны всех мастей. От неожиданности и страха, что они бросаются на людей, я заорала что было мочи. В это время Илюшка рывкнул на меня:

– Не ори зря, на тебя не кинутся, ты у горячей печки сидишь.

Вот это и есть те страсти, о которых меня предупреждала мама и всеми силами уговаривала, не брала с собой, догадалась я.

Тем временем женщины управились на ферме и вернулись к нам. Последняя крыса пробежала перед ними. Откуда она взялась, нечистая сила? Прасковья махнула в ее сторону горящих фонарем.

– Ты помнишь, Лизуха, как одна этакая гадина пробежала по мне, когда я лежала на лавке? Хорошо, что лежала ничком, уж не знаю, чё и было бы со мной, лежи я на спине, – просипела Прасковья.

– Нашли кого наряжать. Мы сами-то еле на ногах стоим от замору, да у каждой такие же хвосты, которых некуда деть. (Это они намекали на нас с Илюшкой.) Да еще корят, что много дров палим. А ведь только огонь – одно от них спасение.

Мама виновато подошла ко мне:

– Христом Богом прошу: не гоняйся больше за мной.

Она тихо опустилась на лавку рядом со мной, прижала к себе и сказала:

– Не бойся, Таня! Под солнцем всякая тварь жить хочет. Ты уже большая, и надо это понимать.

Печаль и отчаяние увидела я в ее больших зеленых глазах. Я догадывалась, что эти омерзительные существа пугают ее не меньше, чем меня.

– Зато здесь тепло, не то что дома. Спи, моя мельмезелька. Мы будем дрова подкидывать в печку беспрестанно.

Что означало это непонятное для меня слово «мельмезелька», она и сама не знала. И откуда она его взяла? В это время ее напарница садилась на лавку напротив и непрерывно сипела про себя о том, что не может она понять, зачем послал ей Бог такую жизнь, у нее уже на плечах не голова, а чугунка. Илюшка улегся спать на голую лавку к ней в ноги, но успел похвалиться:

– Спите все, крысы крепко напужались огня.

– Напужаешь их, зверей, они нас вперед загрызут, бегают тут стаями. Лиза, я пока подержу огонь в печке, а как закачаюсь, то тебя толкну на дежурство.

– Ладно.

Мама легла на лавку ко мне в ноги, но все еще не могла успокоиться.

– Вот напасти на нашу душу! За грехи их Господь посылает. Молитвы забыли, помолиться некогда, церковь разорили, и стоит теперь деревня, как сирота. Святого места нет! Деревня без церкви, как человек без души.

Еще много чего говорили караульные, но я уже не воспринимала и, засыпая, слышала только отдельные слова.

В пять часов утра громкие голоса доярок, стуки ведер, бульканье воды в котле, возня разбудили нас. Доярки надевали свои грубые серые дырявые халаты, снимали теплые шали, потуже завязывали головные платки, надевали тяжелые литые резиновые сапоги, обменивались приветствиями, новостями, проклинали судьбу, а после ловко подхватывали ведра с теплой водой и уходили на дойку коров, на ферму. Я видела их руки: большие, широкие, с корявыми толстыми пальцами, с плотными твердыми ладонями почти красного цвета. Таких рук не замечала я даже у мужчин. Еще до дойки мама с Прасковьей железными лопатами и метлами вычищали коровьи стойла. Никаких приспособлений, никакой техники, все делалось руками женщин. Ежедневный тяжелый физический труд везде, на всех колхозных работах.

Ранним утром четверо лохмотников вышли с фермы – это были мы. Прасковья медленно передвигала ноги, а при ходьбе все время наклонялась то вправо, то влево, как будто качалась. Илюшка рядом зевал. Я тоже еле-еле переставляла ноги, так хотелось спать. Мама утирала слезы. Это была работа, как кабала. Всю ночь двери на петле не стояли. Ночь утомила караульных от постоянной беготни, недосыпания, страха и волнений так, что все валились с ног. Мама спрашивала себя: «А чё получу за труд? Один трудодень только и запишут, а чё на него дадут, не дадут, вовсе неведомо».

В тылу был свой фронт, и он еще долго продолжался после войны, конца не было видно. Война убила наших отцов пулей, вдов наградила непосильным трудом, детей сиротством, а всех – голодом. Прасковья с сыном свернули на свою дорогу, мы брели по протоптанной тропе к дому. Небо еще не просветлело, а пугало своей плотной серостью, напоминало о страдальческой жизни и казалось совсем чужим. Снегу было много. Домишки в снегу как будто присели и прищурили свои глаза перед его белизной.

Мы были в безвыходном, унижительном положении. Мама часто восторгалась своей напарницей Прасковьей:

- Какая славная женщина! Тихая, работающая, спокойная, воды зря не взмутит.
- А почему она так нехорошо дышит? Неглубоко, шумно, а то и вовсе запыхтит?
- В деревне говорят, не знаю, правду или нет, что хворь в ней сидит неизлечимая.

И действительно, Прасковья жила недолго. Через несколько лет она умерла. Всякий раз при воспоминании о ней мама оплакивала и жалела ее.

В один из вечеров, когда мама была уже на ферме, а я хотела опять бежать за ней, меня зазнобило, враз поднялась температура, и сильно заболела голова. В то время в деревне прочно бытовало мнение, что болезни случаются или от простуды, или от недоедания. Помню, что я металась вся в поту, доселе никогда не потевшая. Жаловаться было некому, да и бесполезно: утром всех из низа как ветром сдует на работу и допоздна никто в низу не появится. А так хотелось, чтобы именно сейчас тебя приласкали, пожалели, подбодрили, но этому в детстве никогда не суждено было сбыться. Вины мамы в этом не было.

Свалила меня непонятная болезнь надолго, да так, что течение ее не могу вспомнить и по сей день. Врезалось в память только ощущение выздоровливания. Лежа на гопчике, я рано проснулась от того, что подмышечные бубоны мои прорвало, обильно хлынул из них гной. Мои руки были запрокинуты за стриженную наголо голову, от того бубоны, освободившись от скверной вязкой жидкости, замочили голову и шею. Мне стало легко, я открыла глаза и обвела взглядом наш низ. Никого нет, тишина, все на работах. Все мое маленькое бессильное существо захотело есть и встать самостоятельно, без поддержки. Но хватит ли моих силенок? Потихоньку спустилась с гопчика и уже непривычно для себя пошла босиком по избе. Все до боли было знакомо, никаких изменений, все на своих местах. Почему-то пришла в голову мысль снять со стены висевшее на гвоздике маленькое зеркало. Осторожно влезла на лавку, сняла его и поставила перед собой на стол. На меня смотрело маленькое, худое, чужое личико величиной с мою ладошечку. Неужели это я? Болезнь изуродовала меня и сделала неузнаваемой для самой себя. Но самым страшным оказались подмышечные впадины. Я подняла левую руку, из впадины выпал как будто пустой мешочек моего тельца величиной с куриное яйцо. Я погладила его, ведь это было мое тело. В это время в избу вошла мама с караула. Она оцепенела, потом подошла ко мне, осторожно усадила на лавку рядом с собой и заплакала. Плакала она громко, но без слов, я молчала, прижавшись к ней. И было ясно, что, несмотря на разницу в возрасте, в опыте жизни, мы понимали друг друга.

Помню, как пришла наша фельдшерица и сообщила, что я поборола туляремию и больше никогда не заболею. Сейчас я знаю, что она от грызунов, но тогда фельдшер не сказала нам всей правды, что, впрочем, было свойственно для того времени. Потом мама радостно сообщила, что на дворе много света и вот-вот наступит весна.

– Ты долго хворала, а сейчас пора выходить на солнце, оно для нас главный лекарь.

Мама собрала меня и повела за ворота. Теплый ветер повеял в лицо. Отвыкшая от яркого света, я зажмурилась. Уходить с улицы не хотелось. Скоро зазвенит капель, повиснут с крыши огромные сосульки, а потом будут падать со стеклянным звоном. Мне казалось, что я только что родилась заново и все надо начинать сначала. До сих пор моя маленькая жизнь была как будто не наяву, а в чужом жестоком сне. И эта уходящая из меня жизнь постепенно вновь возвращалась. Ослепленная радостью выздоровления, я жадно дышала, вбирая в себя свет, тепло, жизнь. Мама, стоя рядом, рассказывала:

– Ты так хворала, а я беспрестанно ходила на работу. Разу не дали с тобой ночевать, говорили, что ночью ты не одна в избе, а в колхозе людей не хватает. «Разве посадим тебя за дочерью ухаживать, этак и все садиться начнут, а кто планы в колхозе выполнять будет? Девчонка ночью все одно спать будет, что с тобой, что без тебя. Выживет так выживет – ты тут ни при чем».

Мама молча глотала слезы.

– Какая болезнь к тебе привязалась, я сроду такого чуда не видала. Разве ее не матери надо лечить?

И сама же отвечала на свой вопрос, что она бессильна, а мы никому не нужны.

– Умирайте, одним едоком меньше. Мы и так все болезни на ногах и на работе лечим. Спасибо фельдшеру, она приходила, порошки стрептоцида давала. Слава Богу, не перевелись еще добрые люди, хоть в поганой жизни кувыркаемся. Время летит быстро, Таня. Летом пойдем со мной пастушить на природу, на простор, дышать вольным воздухом. Вместе мы все напасти одолеем.

В это время по улице медленно проехала лошадь, запряженная в сани, груженные колотыми дровами. Из-за реки вывозили до ледохода последние дрова. Копыта лошади цокали по гладкой укатанной дороге. Она была хорошо подкована. Как же точно сказал Мандельштам: «...о временах простых и грубых копыта конские твердят».

Глава 5. Зимние забавы, и не только...

Зима в нашем краю тянется долго. Однако мы любим ее за чистый воздух, белый цвет, ядреный мороз, который нередко же и проклинаем. Самое красивое зимой – это снег: белый, пушистый, легкий, как лебединый пух, только он не греет. Повалят большие хлопья иногда дня три подряд – свету белого не видно. Бывало, что утром и дверь не откроешь, приходится прогребать дороги, дорожки, протаптывать тропки. Дворников в деревне нет. Сам гребни. Трудно сгребать с крыши, а надо. С крыш он опасно свисает, весной может упасть внезапно, как куль с мукой.

В ядреный мороз промерзает все. На стеклах окон – узоры. Они будят детское воображение: ты видишь в них все, на что хватает твоей фантазии... В замерзшее окно ничего не видно, надо ноготком поковырять намерзший снег, потом подышать – вот тогда сделаешь маленькое круглое окошечко в большом квадратном окне и смотри на улицу. Можно увидеть мужика в тулупе, в шубных рукавицах – больших и неуклюжих, бабу в длинном пальто, покрытую верхней огромной клетчатой шалью. Они сидят на дровнях. Знаю, за сеном поехали. На дровнях лежат веревки. У мужика за поясом обязательно топор, надо будет в лесу вырубить бастрик – это длинная, крепкая жердь, которую кладут на воз сена посередине, чтобы придавить его и затянуть воз за бастрик веревкой.

В сильные морозы из всех труб валит дым столбом. Его отчетливо видно на чистом голубом небе. В нашей избе в морозные дни по утрам иногда тетка Мария ставила большой желтый самовар. Без горячего чая тут нельзя. Мама приносила воду в ведрах на коромысле. На воде плавали льдинки, а на краях ведер блестели, как хрусталики, замерзшие капельки воды.

В мороз мама наговаривала мне: «Не ходи на улицу, не высовывай нос. Хороший хозяин сегодня свою собаку на улицу не выгонит». Если каким-то чудом случалось, что у нас были дровишки или щепы, то тогда протопленная печь давала тепло и жизнь. Как разыграется пламя в печи, любо посмотреть. Хорошо, когда дрова есть, а если их нет, то зимняя красота уже не трогает и мы все в плену и власти у мороза. Тогда мы пропадали, и это случалось нередко. Зато в оттепель никого из ребятни не удержать дома. Все бежали на реку кататься с гор на самодельных неуклюжих санках. И я ковыляла следом за всеми, присмотреть за мной было некому, росла я вольной, что хотела, то и делала.

Надеть было нечего, но добрые люди выручали. Кто-то дал маме для меня старые отопки, но все же это были как-никак валенки. Они все залатаны, а на том месте, где большой палец, были дыры. Видно, долго росли пальцы, упирались, да и вышли наружу. Я радовалась: будет в чем бегать, а что рукавичек нет, так это поправимо: у моего пальтишки рукава длинные – вот и спрячу руки. С гор каталась я неистово. Начиная с самого пологого места берега, постепенно прибавляя высоту. От сознания того, что в избе холод, есть нечего, мамы нет, я все зимы напролет каталась с гор целыми днями. Вечером еле-еле шла домой, волоча тяжелые санки, на которых ничего не подстелено. Руки и пальцы были скрючены от мороза, а из дыр валенок вылезли чулки, застыли в комок и стучали о пол. Раздеться я уже не могла, а если кое-как раздевалась, то садилась на лавку в передний угол, клала голову на стол, засыпала и не помнила, как мама переносила меня к себе. Раз похвасталась маме, что добралась уже до самой высокой горы, потом летела с нее в три перевертыша. Она запричитала: «Слава Богу, что хоть шею не сломила... Хоть бы дал Господь одну тебя поднять». А тут еще и другое увлечение появилось: стала с деревьев в сугробы прыгать вместе с другими ребятами. Те были покрепче, выбились сами, а меня нередко откапывали, я выбиралась с большим трудом, полная снегу. Маме не говорила, чтоб она надо мной не причитала. Она часто повторяла: «Как ни крути – все худо: ежели потеплело – ты на улице без догляда, в мороз – мерзнешь дома, как кочень».

В то время лошадь в колхозе, чтобы ехать по дрова, не давали, потому ходили за реку, собирали хворост, вязали его, и эти вязанки приносили мама с теткой Марией на спине. Вся надежда была на себя, пилу и топор. Лютые морозы, как назло, ударяли враз, нас не спрашивали. Мама горевала: «Опять застала зима Ивана в кожанае, а у нас – дров ни полешка и лучины не нащепали. Одна работа на уме. Как будем зимовать – один Бог знает».

В одну из таких зим я промерзла так, что заболела фурункулезом: один чирей вылечим, новые 2-3 уже тут как тут. Всю зиму мазали меня вонючей черной мазью – не помогало. Ни лежать, ни спать, ни наклониться не могла. Нередко поднималась температура, я исхудала, обессилела. Вялая и безжизненная, не могла даже надеть платье – оно создавало боль и бередило фурункулы. Болезнь коварна, как змея, мама очень жалела меня, но лечить не могла. Я справлялась с хворью сама.

Всех с раннего утра спровадили на колхозные работы. Как всегда, помогла матушка Елизавета. Она привязывала жирные листья алоэ, выдавливая его сок в чашку с чаем и поила меня... После многочисленных фурункулов оставались ямы и ямки на моем исхудалом тельце. Они затягивались медленно, оставляя следы в виде круглых пятен. Я их считала: раз, два, три, четыре... Всю зиму болела я, а эти метки долго еще напоминали мне о зимних забавах.

Мама с теткой Марией совсем выбивались из сил и выли:

– Вот только скажи кому, что живем в лесу и мерзнем как тараканы – ведь не поверят. Живем – хуже некуда. Замерзаем на корню. Все уже истопили, чё можно, хоть лавки последние пили. В избе куржак. Вот сдохнем, и поминай, как звали.

Если в доме был мужчина, то в лесосплав он поленницы под горой наставит, а потом всю зиму дрова продает, вот и живет, как огурчик, посмеивается в тепле, а у нас ни мужика, ни силы, ни денег.

– Видно, на роду мне так написано – страдать за свои ли, за чужие грехи, – причитала мама, вытирая углом платка свои слезы.

Я подходила к маме:

– Не плачь, война ведь кончилась.

– Это хорошо, да только братья мои уже не придут никогда, а тебя «безотцовщиной» называют. Не на кого нам с тобой надеяться, только на себя. А ведь без дров и огонь в печи гаснет, так и мы без отца.

И пошла она к председателю колхоза просить Христа ради лошадь. Председателем был уже не мой дед, а сильный, здоровый мужчина средних лет. Она жаловалась ему, что всю зиму девчонка хворает, оклематься не может, так и до смерти недалеко. «А чё я без Тани делать-то буду?»

Я представляю, как рыдала мама в конторе. Ей дали старую, слабую лошаденку, которая, то и гляди, сама упадет дорогой. Надо собираться по дрова за реку. Под фуфайку надевала мама все, что у нее было, а была ветошь «на веретешке растряси». Подпоясывалась потуже ремнем и вдвоем с теткой Марией садились на дровни. Клали пилу, топор, веревки. Мы с Яшкой встречали их вечером. Если воз дорогой распадался, то возвращались они поздно – когда в избах горели огни. Привозили тещу – это сырые, тонкие березки. Рубили ее сами, под корень. Хорошо, если попадет сушина – это на растопку, еще лучше – сухая береза, это были лучшие дрова. Горит береза с треском, быстро.

Мы с Яшкой снимали бересту сверху и клали в угол, на печь, а еще с сухих поленьев дров драли лучину ножом, вязали в пучки и клали в тепло, как драгоценность, лучина шла на растопку печи. Плохо, если печь нечем растопить. Тогда бросали и подливали все, что горит. В ход пошли и облигации, которые силой впаривали малограмотным колхозникам за работу вместо хлеба, обещая горы золотые: они не только погасятся, но и выиграть можно, тогда просто так разбогатеешь. На второй стороне этих бумажек были написаны волшебные цифры с нулями, которые никто не понимал. Моя мама и тетка Мария это в голову не брали и суда-

чили между собой: «Омманывают оне нас, поверь Богу – омманывают. Кто-то даст нам эти мильены – отсель видать». Другие верили, прятали далеко, теряли, выли. Жизнь показала, что несчастны легковверные.

В течение всего моего детства облигации продолжали впихивать за труды, не считаясь с людьми. Давили на совесть честных тружеников, нередко угрожая. Облигаций этих не сохранилось ни у мамы, ни у тетки Марии. Они все ушли на подтопку печи. Чаще всего с дровами мы опаздывали. Все лучшее поблизости уже до нас вырубали. Женщины привозили тогда сырой осины. Она не горела, а только шипела, из нее лилась вода вместе с женскими слезами, заливая огонь. Печь растопить не могли, выли, ругались и в конце концов, измазанные в саже, голодные, бежали на работу. Вечером на козлы клали осину, садили меня верхом, чтоб она не прыгала под пилой. Мама с Яшкой пилили. Пила была не наточена по всем правилам, как говорили, «не разведена». Пилить было невозможно, дергали ее туда-сюда, она застревала, они маялись. Я своим малым весом удержать осину на козлах не могла и падала.

После долгих мучений часть напиленных поленьев заносили в избу, на печь, чтоб они подсыхали... Все когда-то кончается. Славу Богу, мы не замерзли, не погибли в снегах.

За зимой пожаловала долгожданная весна, солнце поднималось все выше, заглядывая и в наш низ. Мы оттаяли душой, вылезли на свет Божий. Помню, как еще до поступления в школу меня поманивало посетить сельсовет. Мое желание исполнилось, когда зазвала меня в сельсовет, который располагался у нас на втором этаже, Шура, молодая девушка лет четырнадцати. Работала она там исполнителем, точнее, девочкой на побегушках. Куда пошлют – туда бежит. Видать, ей иногда тоже было скучно, как и мне.

– Знаешь ли ты, Таня, буквы?

– Нет.

– Ты уже большая, тебе пора их знать. Давай играть в школу? – предложила она.

Так появилась у меня первая учительница, которая выучила со мной все буквы и научила читать легкие слова не по слогам, а по буквам. В сельсовете было тепло, светло и тихо. Наши уроки были в углу, за деревянным барьером. Мы шептались. Шура хвалила меня и гладила по голове. Даже отметки ставила на белом поле газеты. Мне нравилось разбирать буквы: м-а-м-а. «Мама», – говорила я радостно и громко. Но эта игра не нравилась Шуриному начальству. Урок наш прерывали, ее «угоняли» за человеком. Точнее, просили его предоставить, а мне предлагали спуститься к себе, в низ. Но с большим упрямством и упорством я вновь и вновь забиралась в Шурину школу на второй этаж. Шура еще учила меня складывать и вычитать по пальцам.

– Это – арифметика, – говорила она трудно произносимое слово, которое захватывало и завораживало мое воображение.

Принесла как-то она книжку с картинками и читала мне первые детские сказки. Я рассматривала картинки и начала мечтать о школе. От занятий с Шурой приходила я в восторг, у меня дух захватывало. Дома я сама писала слова и читала их маме: п-а-п-а. Папа. Мама плакала, не знаю, с горя или с радости. Уроки с Шурой закончились, когда ее перевели на другое место работы. Я горевала долго. На прощание дала она мне чистый лист бумаги и простой обгрызенный карандаш, я не ожидала такого сокровища.

После окончания института я, молодая учительница, учила ее сына. Она называла меня по имени-отчеству, чем приводила в большое смущение.

Глава 6. Первоклассница

– Как будем нынче зимовать? Дров ни полешка. Куда мне тебя, Таня, упрятать от морозов и простуды? Ну-ка, подумать только, уж зимы стали бояться.

Мама придумала «упрятать» меня в школу. Доказательства моего возраста и готовности к учебе в школе у мамы не было. К тому времени я благополучно исстригла на мелкие аккуратные квадратики все документы, которые хранились у мамы на божнице за иконой. Делала это от нестерпимой тоски и оттого, что нечем было играть. Битые фарфоровые черепки, найденные на помойках, «калачики» из грязи шли в игры только летом, а зимой была прямо беда.

Мама этот факт долго скрывала, но пришла необходимость во всем признаться, ей дали штраф. Денег у нас не было, поэтому за «халатное отношение к документам» у нее вычитали трудодни целый год и к «чистому расчету», как она выражалась, она осталась в долгах перед колхозом. Сколько было пережито горьких минут и пролито слез! Зато с какой гордостью показала я маме, после прихода ее с работы, эту «кучку нарезанных документов». Мама меня не тронула: ведь я так старалась!

– А куда бы я их и спрятала от тебя, кроме божницы? И зачем мне паспорт: я без него обходилась почти сорок лет.

На этих слезах я и приплыла прямо из нашего низа в первый класс школы. Мне было еще 6 лет, я была настоящей Дюймовочкой. Входя в общий коридор школы, многие, кто там стояли, подбегали ко мне и, как добрые хозяйки манят к себе цыплят, манили меня: «Цып-цып-цып» – и протягивали шепоткой сложенные руки. Я улыбалась, шла вперед, никогда не сердилась, а только смеялась по-детски добродушно.

До десятого класса стояла последней в ряду на уроках физкультуры из-за своего маленького роста. Это меня не смущало. В классе сидела все школьные годы на первой парте, чаще всего у окна. Парты были как деревянные комбайны. Столешница и скамья на двух учеников совмещались воедино. Верх был черного цвета с выемками для ручек по краям и чернильницы посередине. Нижние части крышек открывались с помощью шарниров, чтоб удобно было войти внутрь парты. Все остальное в парте красилось в коричневый цвет.

Парты были разных размеров: от маленьких в начале до больших в конце класса. Несмотря на маленькую парту, усевшись за нее, я как будто провалилась. Меня не было видно. Два года я клала на сиденье всю свою верхнюю одежду и сидела на коленях, подняв попу. Приспособилась. Парты с ее конструкцией меня пленили: она была очень тяжелая, крепкая, не двигалась при письме. Черная классная доска не была прибита к стене, как сейчас, а стояла на широких ногах посреди класса, за столом учителя. В классах было светло. Стены побелены известью. Одно лето и моя мама подражалась за деньги белить школьные классы.

Не помню, как пошла я в первый класс, но помню, как мама «в руки» шила мне холщовую сумку, а еще помню перед тем, как идти в школу, попросила она меня встать на лавку, а сама встала передо мной. Мы оказались с ней лицом к лицу.

– Какая ты уже большая выросла, ростом стала с меня, уже в школу пошла. – Это был сентябрь 1950 года. – Старайся, учись. В добрый час, во святое время.

Я впервые рассматривала свою маму; она не была яркой, выразительной, но внимательный глаз мог отметить, что черты лица ее были утонченные: высокий лоб, большие зеленые глаза смотрят просто и открыто. Маленький прямой нос, аккуратные губы всегда были сложены в затаенную улыбку, красивый овал лица и матовая, чуть бледная кожа. Длинная тонкая шея до конца ее жизни так и не была изрезана поперечными морщинами. Русые тонкие волосы всегда завиты в тугий узелок под гребенку и спрятаны в платок. Ситцевый платок на голове она носила даже дома. Странно, думала я, отчего волосы на голове русые, а брови густые, темные, длинные, с изгибом. Она была очень миловидна и обаятельна. Выражение лица доверчивое и

простодушное. Ее портили глубокие продольные морщины на лбу. Иногда мне казалось, что лицо ее красиво, но эта красота не светилась изнутри, а была растоптана и убита нуждой. По ее внешнему виду невозможно было точно определить возраст. В жизни она была склонна не к веселью, а, наоборот, к слезам, уединению и печали.

Ее лицо портили плохие зубы. Они так часто болели, что даже не помогали испытанные средства: держать во рту соленую воду, курить махорку, лежать на горячей печи или, наоборот, прикладывать к щеке снег. Все в деревне ревом ревели, если болели зубы. Знали: пока зуб не выболит – не успокоится. Зубного врача не было, зубы не лечили, их только рвали. Как-то раз к ее шатающемуся зубу квартирант Сашка привязал крепкую нить, другой конец которой был привязан к дверной ручке. Он дернул с маху из сеней – зуба как не бывало.

– Вот, слава Богу, и дело с концом. Давно бы так, чё мучилась? Раз – и готово дело! Спасибо тебе, Сашка. А то ведь разбарабанило бы щеку, как робить будешь? Дома ведь не оставят. Зуб – это не отговорка. Никто мое гнилье в голову не возьмет.

Я часто говорила ей:

– Мама, ты красивая, только зубы у тебя плохие.

– Что поделаешь? Какие Бог дал.

– А еще ты, мама, очень худая.

– Когда-то была я кровь с молоком. А теперь, – махнула она рукой, – как вспомнишь, то и завоешь лихоматом.

Она всегда давала мне напутствия, которые перед каждым годом учебы были по-матерински трогательны.

– Ты, Таня, сама себе дорогу пробивай. Нам никто не поможет. Расти большой, да умной. Ты мне и любя, и мила, и досадница...

В школу ходила я с большим удовольствием. На уроках не сводила с учительницы глаз, не замечала никого вокруг. Старалась выполнить все учительские указания. Помню, как маме недосуг было делать мне палочки для счета, так на контрольной работе по арифметике я разулась до голых ног зимой, чтобы посчитать пример, – не хватало пальцев рук, решила занять их у ног.

– Что ты, Таня, делаешь под партой?

– Примеры решаю.

Надежды наши оправдались не все. В школе зимой тоже был холод. Дрова были сырые, горели плохо, к приходу школьников классы не нагревались. Дрова для школы заготавливать было некому. Мы мерзли. Анна Ивановна всю зиму вызывала нас по двое к печке, чтоб грели руки. Весь первый класс писали карандашами.

Самым интересным было слушать рассказы и сказки, которые читала молодая пышиноволосая учительница. Сначала школа была для меня большой игрой, загадочным миром. Мне нравилось шумное движение, школьный звонок, письмо мелом на доске. Нас, первоклассников, было много, человек 20, не меньше. С 1946 по 1956 год наше село было районным центром. Каждая изба была битком набита людьми, в основном приезжими. Многие, ранее эвакуированные, репрессированные, пленные, остались в наших местах навсегда. К тому же до 1959 года в г. Туринске – это в 35 км от нас – была тюрьма для политзаключенных, еще с царских времен. Я подозреваю, ссыльные были и в нашем селе.

Ученики в классе напоминали маленьких чучелок. Одеты в основном с чужого плеча. Перешитые из старых вещей платья и юбки, на ногах – ботинки с отбитыми носами, глубокие калоши, которые подвязывались мочалкой, чтоб с ног не слетали; пиджаки, спадающие с плеч с залатанными локтями. Ничего яркого, нового, цветастого. На головах изношенные шали и бесформенные шапки убитых на войне отцов. На таких учеников смотреть без слез было нельзя. Все в обносках, в отопках. На мне были сшитые «в руки» мамой коричневое выцвет-

шее ситцевое платье почти до пят, чтоб «надолго хватило», и мамина выдавшая виды визитка для тепла, в которой я тонула.

На ту пору в нашем селе были две одноэтажные деревянные школы, они стояли напротив друг друга через дорогу. В одной училась малышня и старшекласники, в другой – все остальные. В каждой школе помещались классные комнаты, учительская, открытый гардероб для учеников и каморка для уборщицы. По удивительному совпадению даже каморки были обустроены одинаково. На стене обязательно висели часы-ходики, на лицевой металлической части которых были нарисованы три коричневых медведя в лесу. Под ними на камине стоял звонок с длинной веревочкой. В каморках было тепло, потому как всегда грелась вода для мытья полов и тут же готовилась нехитрая еда. Запахи проникали в коридор, дразнили нас, голодных школьничков. Покою уборщицам не было никогда: школа работала в две смены, да и мы нередко из любопытства совали свой нос, куда не следует. В коридоре в сторонке стоял трехведерный цинковый бачок с краном и металлической кружкой на металлической цепочке. Долгое время уборщицы в обеих школах были бессменными, мы любили их за преданность школе.

В дождливую осень и бурную весну мы подходили к школе в обуви, тяжелой от грязи, еле волоча ноги. В одной школе тетя Дуся, а в другой тетя Тоня, как часовые, стояли на страже чистоты и порядка, подавая одни команды:

– Мойте чище обувь!

– С грязью в школу не пушу!

Тут же у входа стояли два больших деревянных корыта и одно – металлическое. Рядом под ноги была брошена старая ветошь. Мама наказывала мне строго-настрого в корытах «не брызгаться».

После таяния снега, дождей в деревне стояла непролазная грязь. По деревянному тротуару, проложенному сбоку вдоль главной деревенской улицы, ходить было опасно: можно раскатиться и хлопнуться. Через улицу пройти и вовсе было невозможно. Если меня никто не возьмется перенести, то я приходила домой выше колена в холодной грязи. Дома надо было срочно приводить себя в порядок и срочно забираться на печь. Ноги горели.

Еще много десятков лет бездорожье, непролазная грязь были в наших краях настоящим стихийным бедствием. Сколько было угроблено человеческих жизней, скота, техники! Когда в распутицу или непогоду приходила я в школу с мокрыми ногами, то вскоре возникала потребность бежать в туалет. Он стоял далековато от школы. К нему вели тротуар и заросшая с обеих сторон тропинка. Надо бежать бегом, чтобы не опоздать на урок. Я боялась, что меня не пустят. Туалет – это целая напасть для такой мелюзги, как я, особенно зимой. Внутри его можно раскатиться и угодить в большую круглую дыру. Везде нужны соображение, сноровка и опыт, даже в уборной. Он тоже был для нас школой выживания...

Кончились школьные занятия, я шла домой и сразу же садилась за уроки. Никакой передышки. Так делала всегда, учеба была самым любимым занятием. Дома ничего хорошего не было, кроме тишины. Я была одна. Избу на замок не закрывали: воровать было нечего. Если на столе пусто, значит, есть нечего. Так было почти ежедневно. Я искала недоеденный кусочек хлеба или в чугушке в очистках завалявшуюся картошку. После клала тетрадь на лавку, вставала коленями на пол – так мне было удобнее – и старательно выполняла домашнее задание. Самым тяжелым занятием было – заточить карандаш. Карандаш точила сама, оперев его об лавку, карябала кухонным ножом, как могла, иногда отковыривала дерево руками, зубами. Пишу и вспоминаю, как быстро, легко, красиво затачивал нам карандаши на уроке черчения в седьмом классе наш учитель-фронтник Стехин Николай Александрович. У него были золотые руки.

Руки людей о многом говорят. У моей мамы самым красивым было выражение лица и – руки. Она нередко повторяла: «Только тогда вяжу с радостью, когда чувствую руками нить». Я часто гладила ее руки.

Уроки делала я терпеливо, высунув кончик языка. Не помню случая за всю учебу в школе, чтоб не сделала уроков. Мама частенько повторяла:

– Учись, добивайся своего, дочь, а то будешь, как я. Правду ведь пословица говорит: «Неохота шить золотом, так бей молотом».

Зимой, впервые в жизни, я готовилась к елке, к встрече Нового года. На уроках мы делали нехитрые игрушки. Клея не было. Вместо него учительница приносила из дома сделанный из муки клейстер. Цветной бумаги не было. Я мечтала увидеть настоящую елку и Деда Мороза со Снегурочкой. Верила, что они придут из леса. Думала о празднике. Ведь до сих пор его у меня никогда не было. А тут даже песни новогодние для хоровода выучили.

Мама ушла на работу, я пошла на новогодний праздник в школу. Детей в школе оказалось много. Вдруг стремительно и внезапно вошел Дед Мороз. Я испугалась и забилась в угол, меня знобило. Дед Мороз загадывал загадки, а я захотела убежать домой. Мне было плохо, голова кружилась и горела. Мне показалось, что я должна вот-вот упасть. Из школы я бежала что было духу. Разделась, легла на гопчик и провалилась. Вечером мама кинулась ко мне:

– Господи, ты вся покрылась красной сыпью.

Мама испугалась и куда-то убежала. Потом пришла фельдшер и объявила: «Это – корь». Мне подали порошок с водой. Вечером пришла незнакомая женщина и стала объяснять маме, что меня надо срочно накрыть ярко-красной тканью: «Ее корь боится». Мама побежала на второй этаж в сельсовет и вернулась оттуда со старым флагом, который дала ей втихаря исполнитель. Я долго лежала под красным флагом.

Маму ежедневно наряжали на работу, а мы одни с флагом боролись с болезнью. Наконец корь «испугалась» красного цвета, и я выздоровела. Сейчас я думаю, что человеческая жизнь тогда ничего не стоила. Как-то вечером пришла с работы мама, и я неожиданно для себя и ее попросила дать мне хотя бы одну, но очень большую ягоду клюквы.

– Слава Богу, идешь на поправку.

Она побежала и где-то расстаралась найти кружку клюквы. Все зимние каникулы пролежала я на гопчике, ослабленная и похудевшая. Вспоминала праздник, который долго ждала, да так и не повеселилась.

– Со смертью борется девчонка, – говорила тетка Мария, которая меня любила своей грубой невысказанной любовью. – Как жалко-жалко, да что поделаешь? На все – Бог.

Одиночество, чувство, что ты никому не нужен, – вот, что было самым трудным в детстве. Это добивало окончательно вместе с голодом, холодом, вшами.

– Бросила девчонку на произвол судьбы: делай чё хошь и питайся, как сумеешь. Я ровно как не человек, не мать, а машина – только роблю.

Как-то раз застала я маму в слезах после школы.

– Ну-ко, пришла к нам инспектор по образованию из Ирбита (она родом тоже из нашего села). Я взволновалась, оторопела даже, не ожидала ее увидеть в нашем низу. «Уж не обесудьте, угостить нечем». А она ко мне с подгорелым солодом: «Я вот по какому вопросу, Елизавета Харитоновна: отдай Таню в детдом, тяжело тебе, колхознице, без отца ее воспитывать, а то погубишь дочку. Я все сама оформлю, как полагается. Я бы и сама ее у тебя взяла, да ты не отдашь, но в детдоме я беру ее под личный контроль. Она будет одета, обута, накормлена».

От этих слов я сжалась в комочек. Неужели заберут меня силой от мамы? Я убегу, спрячусь, меня никто не найдет. Когда играем в прятки, меня никогда не могут найти и потом кричат: «Цыпушка, выходи! Ты уснула?»

– А чё ты, мама, ей ответила? – с испугом спросила я.

– «Живем мы хуже некуда. Да кто ноне выпрыгнул из своих штанов? Все почти так живут, а мы с Таней живем душа в душу: есть – вместе и нет – пополам». А она все убаивала, убеждала, уговаривала да нахваливала детдом: и тепло, и светло. И воспитатели с дипломом, не то что я – три класса. Ничё путного не скажу, задачу решить не помогу, в глаголах не разберусь.

Помню, что я плакала и просила маму не отдавать меня в детдом, обещала ей, что буду стараться учиться и сама в глаголах разберусь. Это была для меня трагедия.

– Не отдам, вот увидишь – не отдам. Ты еще от горшка два вершка, тебе мать нужна. Тебя никто так не будет любить, как я. А умирать придется – так вместе. Я бьюсь, как рыба об лед, но как пословица говорится: «Одна голова не бедна, бедна – не одна». Все, даст Бог, переживем, чё придется.

Я долго плакала.

– Да ты не вой, Таня, я ведь не сдалась. Может, инспекторша и добра нам хотела, только где это видано, чтоб мать свое дитя бросала? Хорошо она говорила, складно, с умом, да только бывают люди, которые мягко стелют, да жестко спят.

Мама обняла меня, прижала к своей груди и погладила. Руки ее были мягкими и теплыми. Мы нередко вспоминали потом с мамой это событие.

– Кто его знает, какой он, детдом? Это еще на воде вилами писано, что там шибко хорошо. Везде хорошо – где нас нет. Вот скоро учебу кончишь, а летом будешь со мной телят пасти. Летом нам будет полегче. Это я лонись⁷ тебя с собой редко брала, потому что ты маленькая была – не выдюжишь, а ноне, ежели недалеко да в хорошую погоду, – со мной побежишь. Вдвоем нам веселее.

Закончился первый учебный год. Меня, как хорошую ученицу, перевели во второй класс и даже одарили ситцем на платье. Из девчонки, которая пришла в школу перезимовать, я стала настоящей ученицей. Я бежала домой, мне не терпелось показать ярко-красный ситец в маленький белый цветочек, внутри которого стояла голубая точка. Такого ситца я больше не встречала. Это был первый успех и первый восторг. Наступило лето.

Коренные уральцы любят повторять: «У нас шесть месяцев зима, остальное – лето».

– Дольше лето ждем, а промелькнет – и не заметишь: то ли было, то ли нет!

Летом я всегда бегала босиком. Другой обуви не было. Загорала как чертенок, подошвы ног грубели так, что камушки не чувствовала.

– Вот чертенком-то я тебя впервые и приметил, выделил из всех, – сознался мне как-то мой муж.

С утра мама уходила пасти телят, вечером я всматривалась в даль тропинки, протоптанной вдоль всего огорода. Она медленно подходила к дому с длинной тонкой вицей⁸ на плече, в неизменной своей серой юбке и блузке в черно-белую, а теперь от того, что выцвела, в серо-белую клетку. Я бежала навстречу вприпрыжку, радуясь и улыбаясь.

– Что ты мне принесла?

Иногда она давала мне полевого луку, пучок щавеля или букетик полевых цветов, но чаще тихо просила:

– Не надоедай, Таня. Дай отдохну. Сегодня весь белый свет опутешествовала, была, где Макар телят не пас, а я пасла. Все трудодни зарабатываю. Правда пословица говорит: «Не потопашь – не полопашь».

Она ставила вицу в угол, сразу же, не раздеваясь, ложилась на лавку и засыпала. Иногда перед тем, как нам лечь спать на гопчик, мы с мамой ели «чё придется». Она уходила утром с вицей на плече, когда я еще спала. Если солнечно, то уходила босиком. Мы с ней долго были настоящими босиками. В карман своей старой блузки клала кусочек лепешки, недоеден-

⁷ *Лонись* – в прошлом году.

⁸ *Ви́ца* – гибкий тонкий прут, чаще всего ивовый или березовый.

ную картошку с солью. Если шел дождь, то надевала свои избитые тяжелые ботинки со шнурками. Такие я увидела впоследствии на полотне художника Ван Гога. Я испытала шок, это была настоящая философия жизни.

Жизнь заставляла меня с утра искать пропитание. Сначала я бежала к реке рвать тонкие свежие веточки тальника. Если с ветки сорвать все листья, а после оголить стебель, то его можно жевать или лизать. Ивовый сок сладкий. Однако основное спасение от голода – это репейные пучки: надо стебель освободить от листьев, снять с него верхнюю грубую кожицу – и пучка готова к употреблению. Главное – срывать вовремя: пока репей не зацвел. Тогда на самой верхушке были видны ярко-сиреневые колючие шишки; их мальчишки охотно закатывали в наши головы. Этих самых репейных пучков съела я за свое детство не один килограмм, спасаясь от голода. Пора, пожалуй, написать мне оду репейной пучке и прославить ее, мою спасительницу.

Вечером нередко хвасталась маме, что уже на завтрашний день заприметила свежий неперосший репейник.

– Голод – не тетка, тут, как говорится, есть захочешь, так умоешься.

Будучи взрослой, решила я украдкой от моей семьи съесть такую пучку, но не смогла, не от печальных моих воспоминаний о далеком голодном детстве, а от неприятных вкусовых ощущений. Не смогла, а только крепче сжала зубы, чтоб не хлынули слезы.

Иногда днем проводывала меня, приходя с работы, тетка Мария. Она молча вынимала из шкапчика на середине оставленную для меня кружечку молока, в которую уже нападали обильно мухи, вытаскивала их из чашки крючковатым грязным указательным пальцем и подавала мне:

– Пей, не моргуй (то есть не брезгуй). Пей на здоровье. Не умирать же с голоду.

Я зажмуривалась и – выпивала. С голоду и черта лысого съешь.

Каждый день я забегала в наш продуктовый магазин с надеждой. Надежды иногда сбывались.

– Возьми, Танюшка, пряник. Ты ведь одна весь день голодом сидишь. Мать пастушит с зари до зари. Верим Лизуньке. У ней уж сердце-то, поди, закаменело так, что в сердце ранят – и кровь не канет.

Полпряника всегда оставляла маме. Не помню за свою жизнь случая, чтоб не поделилась с ней.

Как-то раз увязалась я за мамой.

Я заметила за много лет, что мама не бьет животных без надобности, она, скорее всего, повинуется им. Телята с утра идут лениво, видно, тоже не проснулись. На поляне мама села на траву, я легла рядом. Надо мной медленно плыли облака. Легкий, еще робкий теплый ветер согревал и ласкал нас. Голубизна неба вместе с солнцем слепили глаза. День был, как по заказу, тихий, теплый, без дождя. Душа радуется такому дню. Мы дышали целебным запахом трав и цветов. Я плела венки и радовалась новым ощущениям. Здесь, под куполом синих небес, свободы и воли больше, чем дома в деревне. Мы были наедине с тишиной, наслаждались чистым воздухом и прислушивались к тому, как телята мирно, с аппетитом жуют сочную траву. Никто не мешал каждому делать свое дело. Мы грелись на солнце, впитывая живительный поток его лучей.

И вдруг тишину нарушил странный, незнакомый звук... Он шел с неба, приближаясь и пугая. Звук напоминал работающую сортировку. Мы повернули головы. С неба прямо на нас летела «этажерка», как тогда называли маленький самолет У-2. Со всех концов села бежали к нашей поляне люди: и млад и стар. Мама начала креститься.

– Господи, спаси и сохрани. Сроду не видала такого чуда! Это, наверное, эроплан. Я про них слыхала. Зачем он летит к нам? Ты хоть, Таня, не бойся.

– Я и не боюсь. Это ты, мама, испугалась.

Самолет снижался и наконец сел недалеко от нас. Телята с перепугу убежали в болотце, а мы не удержались и вместе со всеми побежали рассматривать диковину. Самолет обступили со всех сторон. Из кабины быстро вылез молодой, красивый, белозубый летчик в комбинезоне, легко соскочил с крыла «этажерки» и заулыбался.

– Здорово, колхознички! Что испугались? Я вижу вы уж всех богов собрали. Как поживаете? Кого прокатить по небу?

– Меня, меня!

Я выбежала впереди всех и встала перед летчиком.

Мама схватила меня в охапку и понесла в толпу. Я впервые брыкалась, стараясь освободиться от маминых рук.

Не помню всех слов, но помню, что очень просилась на самолет: кричала и плакала.

– Не вздумай вздымать девчонку. Не дам!

Летчик улыбался еще шире, а колхознички, наверное, не ожидали обнаружить у меня такой прыти. Летчик с кем-то поговорил, показал свои бумаги, сел на траву возле своей машины, перекусил и попросил мужиков раскрутить пропеллер, а всех отойти подальше от самолета. Пропеллер вращался со свистом, ветер гнал на нас прохладу, вздымал подолы, срывал платки и наводил страх на старых и малых.

Летчик сел в кресло, пристегнулся, задвинул стеклянное окно, с улыбкой помахал всем и, разогнав самолет по траве, взвил вместе с ним в небо. Все махали ему вслед, кто-то его крестил, другие, приложив ладонь ко лбу, долго провожали взглядом. Жители нашего села впервые увидели «эроплан». Восторгов и разговоров было еще надолго. Люди разошлись, а я с той поры заболела небом и решила обязательно стать летчиком.

Вечером солнце с негой опускалось к земле. Мы гнали телят домой, окутав себя со всех сторон в вечернюю зарю. Впереди лежала любимая до слез знакомая округа. У горизонта открылась для нас вечерняя позолота у синего края облака, спустившегося прямо на землю. Я успокоилась и замолчала. То ли с перепугу или от волнения молчала и мама. Телята устало плелись, наевшись вволю.

Я долго не могла уснуть, представляя, как вырасту большая, стану летчиком и обязательно посажу свой самолет на эту же поляну. Никому не открыла я своей первой мечты, тайны, живущей во мне, только, увидев свою первую учительницу, поинтересовалась: «Где учатся на летчиков?»

Как жаль, что не дано учителям читать мысли своих учеников. Она не могла знать, что своим ответом убивает во мне самую первую, самую светлую и желанную мечту. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Разве могла она, молоденькая учительница, предположить, сколько слез прольет маленькая рахитичная девочка, лежа на траве и глядя безнадежно в бескрайнюю даль неба; сидя на лавке, опустив голову на стол и, думая о чем-то, лежа на горячей печи. Еще долго вспоминала я жизнерадостного летчика и завидовала ему.

– Таня, на летчиков учат одних мальчиков в больших-больших городах. Это так далеко от нас...

Глава 7. Незабываемые впечатления детства

Не знаю почему, но еще в раннем детстве у меня случалась бессонница, чаще в полнолуние.

Я вижу, как луна освещает наш низ, заглядывая в малюсенькие оконца. Ее всепроникающий, магический, мертвый свет будит мое детское воображение. Мы с мамой лежим на полу у натопленной печки-буржуйки на ее ватной фуфайке, под головой одна подушка на двоих, укрытые моим пальтишко (старым, изношенным, взятым у кого-то с чужого плеча). Лежим, плотно прижавшись друг к другу, потому что так теплее, да и пальтишка на двоих еле хватает. Пока печка не выстыла, нам хорошо. Рядом на гопчике спит тетка Мария в своем единственном сером платье. Она никогда его не снимает, даже на ночь, как и мы: в чем ходим днем, в том и спим. На печи спит Яшка, ее единственный сын, а мой двоюродный брат. Он любит тепло и всегда лезет на печь, редко уступает свое место. Они с матерью спят наголом. В кути, под марлевым пологом, на грубо и наспех сколоченной кровати спят квартиранты: приезжий откуда-то Сашка-татарин с женой. Мне было непонятно, почему его так звали. Или за шикарную кудрявую черную шевелюру, или по национальному признаку. Рядом с ним спит его жена – бывшая фронтовичка Шура. Она без пятюк и потому, как мне казалось, ходит всегда на цыпочках. Пятки у нее разом оторвало на войне. Вчера они дрались всю ночь, а сегодня – спят. Я наблюдала эти частые драки и уже не боялась. Привыкла.

В избе каждый издает свои звуки: один сопит, другой храпит с переливом... Мама, как всегда, спит тихо, и я боюсь пошевелиться. Яшка на печи громко пукает и будит Сашку.

– Нажрется чё попало и душит всех, зараза!

Я уже знаю, что утром ему за это будет взбучка. Яшка на эти замечания отзывается всегда одинаково:

– Брюхо пучит, вертит, дак чё? Не могу держать.

– В войну люди города удерживали, а ты как-то свое брюхо сдержать не можешь.

– Неуж не чуешь, нас так много, повернуться негде, утром от газов хоть в обморок падай, а нам ведь на работу еще идти. Сдерживайся маленько, – отчитывала мама Яшку утром.

Много позже этот низ чем-то напоминал мне ночлежку, описанную Горьким в пьесе «На дне». В верхнем этаже дома был сейчас сельсовет, а мы – внизу, в ютишке. Мама рассказывала мне, как в войну замаялась при отеле корова из-за своей слабости, от недоедания, а без коровы в деревне, да в голодные годы войны, – смерть, вот и пришлось лишиться верхнего этажа, его продали.

– Обманули Марию с деньгами, она и считать-то их не умеет, а меня к деньгам не подпустила, вот и остались в низу, на земле.

Я лежу и все рассматриваю кругом. На крохотных окошечках нет занавесок, в переднем углу очень старый, скрипучий, ничем не покрытый стол, над ним – божница с иконами. Кругом стола – лавки вдоль стен. Места свободного почти нет, правда, есть еще маленькая середка (так называли в наших краях кухню, так как была она всредине, между избой и горницей). У нас горницы нет. У двери, в конце избы, висит металлический умывальник, а под ним – поганое ведро, накрытое тряпкой. В него я ночью хожу по надобности. Оно большое и неудобное. Я встаю на цыпочки у ведра и стараюсь все делать тихо, чтоб никого не разбудить. Летом его выставляют на ночь в сени, а осенью мама, меня жалеючи, заносит его тайком в избу. При обнаружении его, случались ругачки.

– Большая уж, можно выбежать на улицу, пусть тут не воняет! – орал на маму квартирант.

– Твоя Шура и вовсе не ребенок в ведро ходить, а сроду на улицу не выхаживала. Я ведь ночью все слышу, от нее и запах, в носу вертит.

Начиналась перебранка, но мама обладала уникальной способностью: при ее всегдашних активных протестах с меткими замечаниями, она вовремя останавливалась и резко уходила из избы, не доводила дело до логического завершения.

Помню, что зимой за ночь в низу печка-буржуйка остывала так, что вся имеющаяся вода в избе под утро замерзала.

– Живем, как зимогоры, – говорили в избе.

Я не знала, кто такие зимогоры, но, прислушиваясь к этому непривычному слову, понимала так, что это люди, которые горюют зимой, а горевать у нас было от чего. Зимы наши были длинные, холодные, с ветрами. Иногда от нестерпимого мороза воробьи коченели и падали на лету, как комочки. В такие дни нос на улицу не высунешь. Казалось, что ты проживаешь не одну, а сразу три зимы.

Игрушек у меня не было, не считая некрасивой куклы, похожей на Бабу-Ягу, которая появилась по случаю того, что красивую фарфоровую немецкую трофейную куколку у меня украли. У любой куклы самое притягательное – это лицо. У моей куколки оно было изумительно красивым. Я всегда носила ее с собой, в кармашке, на ночь клала под подушку. И вот единственного моего сокровища не стало. Эта потеря оказалась для меня настоящей трагедией. До сих пор помню, что я рыдала навзрыд несколько суток подряд, как будто для меня враз рухнул целый мир. Никакие уговоры на меня не действовали. Случай этот принял трагический оборот. В своих рыданиях я не могла выговорить ни слова. Мама и тетка Мария почуяли неладное и после работы срочно в две руки начали из старья шить мне куклу. Шили несколько вечеров, а в конце сажей разрисовали ее лицо, вместо рта выдавили каплю сока из клюквы. Когда я увидела это чудовище, то разрыдалась еще больше. (Сейчас-то я знаю, что дети – самые загадочные существа на свете.)

Женщины утешали, уговаривали меня, как могли. Наконец мама пошла на хитрость: стоя у горячей печи, она начала непрерывно шептать:

– Рак, рак, поиграй, да отдай. – А потом сказала: – Жди, все равно отдаст. Вот увидишь. Это он решил поиграть с тобой.

Только летом нашла я одну головку куколки в ограде и поверила заклинаниям.

Вот такая получилась печальная история.

Основным продуктом питания была картошка. Если случалось, что я поела перед сном картофельных подсоленных пластиков, поджаренных на железной печке, это уже как праздник. И ничего, что я не сплю, зато мне никто не мешает. Что я думала своим детским умом – мне уже не вспомнить. Скорее всего, рассматривала на божнице лики святых. Казалось, на меня смотрят суровые, требовательные люди. Иногда мама напоминала мне, чтоб я просила у Бога ума и здоровья.

– Ум и здоровье – всему голова.

Мама никогда не пугала меня Божьим наказанием, но предостерегала:

– Не делай худа, вот тогда Господь и пошлет долюшку счастливую.

Кто знает, может, эти материнские наказания вместе с пронзительным взглядом святых оберегали и останавливали от дурных поступков.

Ночь сменяло утро.

В детстве я любила долго спать от того, что голода во сне не ощущаешь, к тому же я твердо знала, что есть все равно нечего. Очень жалко, что понежиться с мамой мне никогда не удавалось. Ее, как она говорила, с раннего утра «утурят на работу». Колхозный бригадир, соседка тетя Катя, постучит ни свет ни заря в окно и нарядит куда следует. Зимой она числилась в колхозе на разных работах. Уходя, фуфайку мама из-под меня вытащит, а меня завернет в мое пальтишко.

Вскоре в избе начиналось движение. Люди утром активничали: металлический умывальник шелкал, двери скрипели, слышалось громкое сморкание и сплевывание. Я затыкала уши.

Помню, что зубы не чистил никто, только квартирантка Шура иногда совала палец в коробочку с зубным порошком и этим пальцем водила по зубам. Порошок она берегла, над ней подсмеивались. Воды много при умывании расходовать все знали, что нельзя, ведь за ней надо идти в сильный мороз на колодец, а он за день так обледенел – к нему не подступишься. Сначала надо колуном (это тяжелый топор) высечь лед от колодца и отнести его, а уж после – доставать воду.

На уже холодном полу, в выстуженной за ночь избе, я сильно сжималась в клубочек. Больше всего боялась, что на меня нечаянно чем-нибудь плеснут из ведра: ледяной водой, пойлом или помоями. А еще боялась, что на меня нечаянно наступят.

– Вставай, разлеглась тут на дороге, барыня, – подавал команду Сашка.

– Откуда он взялся? – спросила я как-то маму.

– Он сосланный. Наверное, то ли от советской власти пострадал, то ли от войны прятался, холера! Так ему и надо, пусть вот теперь померзнет, как мы испокон веку мерзнем. Наши братья голову за Родину положили, а он живой и здоровый. Сколько погибло парней в деревне, а какие были ягоды!

Тут начинались мамины воспоминания...

Самым тяжелым в детстве был голод. От него я часто падала в обмороки. Иногда они были от угара. Случались они, как на грех, без мамы. В то время она была уже на работе. Как-то раз я так упала с печи от голода, что сначала свалилась на гопчик, а с него тут же упала на пол, и по пути падения, махнув рукой, я задела ею горящую печку-буржуйку. Ожог был настолько сильный, что я потеряла сознание. Побежали за мамой на работу. Помню, как носила она меня на руках по избе, плакала навзрыд, причитала, дула на ожоги, а меня непрерывно рвало. Чем только не лечили мои ожоги, а они никак не заживали, пока кто-то не принес нам немецкий трофейный пластырь от ожогов. Их следы оставались заметны лет до тридцати.

Чтобы сохранить больше тепла в избе, вьюшку обычно закрывали пораньше. Так берегли дрова, их катастрофически не хватало на долгую холодную зиму. Нередко меня после падений в обморок выносили на улицу и зарывали в копну сена, которая стояла посреди ограды. Глотнув свежего воздуха, я очухивалась, приходила в себя. После нескольких падений каким-то недетским умом я смекнула, что с полу мне надо вставать перед тем, как закроют вьюшку, иначе я угорю, а еще лучше самой выйти на улицу и вернуться домой только тогда, когда выстоится изба, пройдет угарный газ, разбежится народ по своим делам. В противном случае будет мне «прощай белый свет». У меня уже случались частые головные боли, шум в ушах, головокружение... После такой прогулки я войду в избу, и тетка Мария плеснет мне немного молока в кружку со словами: «Пей все, матери не оставляй, ты растешь». Я страдала от ее слов, но она, как часовой, стояла возле меня, пока я не выпью все молоко. Осталось на всю жизнь ощущение, что я рано начала жалеть маму. К тому же я сильно гонялась за ней. Мне надо было, чтоб она была рядом. Я уже знала, что мама уходила на работу голодной. Одета-обута была вовсе не по нашим жестоким морозам: серая короткая ватная фуфайка, изношенная коричневая шаль в клетку. Надевая ее, она всегда приговаривала: «Шаль-то у меня старых царей». На ногах были кирзовые сапоги, в них зимой сено или солома для тепла. После работы каждый вечер мама высыпала труху из сапог. Для тепла надевала она на себя все «любчонки».

От жалости к маме при каждом удобном случае я ей что-нибудь оставляла поесть, прятывала в укромные уголки. А когда ложились рядом спать, я всегда просила рассказать мне, что она делала на своей работе. А в ответ слышала, что в войну было «ой, как тяжелее: когда днем жали, а ночью скирдовали; теперь хоть ночью сплю, а что мороз сильный, так мы его не замечаем: так робим, что жарко». Ждать маму с работы надо целый день, а ждать долго – это так мучительно. Жизнь научила меня терпеть столько, сколько надо, а вот ждать было всегда невыносимо. Целый день я никому не нужна, никто на меня не обратит внимание, не приголубит, не погладит, поэтому детство научило меня не ждать, а действовать. Нередко я бежала к маме на работу. Это на краю села. Мне казалось тогда, что это очень далеко. Еще с вечера

она шепнула мне, что пойдём на голубинку, так назывался у нас колхозный ток. Там молотили, сортировали зерно. Оттуда и увозили сдавать хлеб государству. Слово «голубинка» прижилось в нашем селе, по-видимому, оттого, что место это находилось рядом с небольшим болотом, где росла голубика, а может, оттого, что это был край села, голубая даль. Кто его знает?

Если холодно, то я всю дорогу бежала бегом, чтоб не замерзнуть. Я уже знала, какую картину увижу перед собой на току: мама оттаскивает полные мешки с зерном или быстро наполняет их большим тяжёлым металлическим совком. Машина-сортировка работает беспрерывно. Ее крутят женщины попеременно руками. Тут только успевай, поворачивайся, отгребай, наполняй, оттаскивай, уноси мешки с зерном, спину разогнуть некогда. Женщины работают молча и напряженно, лишь когда начинают сильно уставать, стараются шутить и подбадривать друг друга.

– Ты, Лизуха, хоть не пади, а то засыплет, не найдем.

Мама всегда была маленькой, худой, изможденной. Они стараются смеяться, но я чувствовала, что это был смех сквозь слезы, женщины уже выбивались из сил. Кто-то скажет: «Тяжело хлебушек достается. Все государству сдадим, самим горсточку зерна в карман взять нельзя, посадят без суда». В те тяжелые времена могли посадить и за три колоска. Здесь же на колхозном току я наблюдала, как идет молотьба осенью после уборки урожая. Молотилка у нас была с конным приводом. Лошадь целый день ходит по кругу, от этого хождения на земле образуется яма в форме калача. Лошадь здесь главная сила, от нее зависит работа молотилки.

На лошадь покрикивает бригадир, чтоб ходила побыстрей, да и на женщин заодно, чтоб пошевеливались, подтаскивали побойчее снопы к молотилке. Доставалось всем! Сама молотилка от неравномерного хода лошади вздрагивала при работе, дребезжала и тархтела. А какая пыль стояла в воздухе!

Нас, ребятшек, к этой машине не подпускали, чтоб не поранились об острые зубцы барабана, которые зажимали колосья. Наконец машину и лошадь остановят, женщины сядут тут же ненадолго отдохнуть, каждая вытащит из своей тряпки скудную еду и меня чем-нибудь угостят. Я испытала на себе, что среди голода и мрачной жизни, когда ждать помощи было не от кого, все же находились люди, которые делились последним. Это были как жемчужины в песке. Я их помню, но не помню ни одного дня, чтоб я была сытая, мне всегда хотелось есть, хотя бы одного хлеба, но досыта. Это были мои маленькие мечты, которые еще долго не сбудутся.

Мое поколение рано поняло, что сытость и голод – это то же, что жизнь и смерть. В поисках пищи приходилось, будучи совсем маленькой, промышлять самой. Маме было некогда обо мне заботиться, она без отдыха на работе. Тогда колхозники не знали выходных, праздников и тем более отпуска. Своих силенок у нее было так мало, что на меня их не хватало, и нередко после работы она с порога говорила: «Слава Богу, притащила себя». Или еще хуже: «Сегодня еле притянула, думала, дорогой паду». Это была сушая правда.

Глава 8. Рождество и Святки

В далеком детстве селяне ежегодно праздновали Рождество. Рождеству Христову предшествует сорокадневный пост, заканчиваемый сочельником. Вечер Рождественского сочельника называли в народе Колядами. Обычай колядования (ворожбы, гаданий, предсказаний) живет многие века. В нашем селе в годы моего детства этот обычай еще не был до конца утрачен. Помню, как девушки бросали пим⁹ через ворота, а после внимательно рассматривали, какой волос в снегу, в самом носке валенка. Это означало, что такие же волосы будут у жениха. Не нашли – значит, до женихов еще далеко. Мяли большой кусок бумаги, клали его на дно перевернутой сковороды, поджигали, а после смотрели на освещенной стене, что же представляет собой тень от пепла. Тут уж на помощь приходит фантазия. Можно увидеть избушку, дом, дворец, город... На чем только не гадали, желая хоть как-то заглянуть в свою судьбу.

Как-то раз, когда я училась уже в пятом классе, в рождественские праздники мы оказались с мамой дома вдвоем. Я сидела на печи, передо мной на опечке горела маленькая керосиновая лампа без стекла, я старательно решала арифметические примеры. Мама пряла, сидя на сундуке. В это тихое, вечернее время к нам ввалились в избу с гармошкой ряженные: молодая женщина, размалеванная до неузнаваемости, и, не поверите, копна сена в сопровождении гармониста. Как сумели надеть на себя столько сена и кто это были? Я не узнала. Ряженные плясали, искренне смеялись, задиристо и громко пели озорные частушки:

Приезжали меня сватать
С позолоченной дугой,
Пока пудрилась, румянилась –
Уехали к другой.

Приезжали меня сватать
На белой кобыле,
До двора доехали –
Жениха забыли.

Заглянули ко мне на печку и дали наставление: «Учись! Ученье – свет, неученье – тьма». Попросили хмельного, но у нас его никогда не было. Мама была непьющей женщиной, а если случилось, то просила налить в ложку и говорила: «Пригубила – и хватит. Меня и без вина шатает». Ряженные с каким шумом вошли, так же шумно удалились, зато наговорили всего, наколедили столько, что на возу не увезешь. Вслед им улыбались мы вместе с мамой.

Еще долго после войны люди страдали, голодали, трудились не по своим силам, чаще плакали, чем веселились. Может быть, любовь колядовать лежит в нашем национальном характере, в стремлении народа к такому вот широкому самовыражению, и это помогает в трудную годину выжить, выстоять. Мне кажется, что в народе еще много спрятано всяких возможностей.

Сохранился и обычай очищения в канун праздника Рождества. Перед праздником во всех избах все вымывается: полы, посуда. Помню, как мама всегда белила известью избу. Непременно старались помыться в бане. Просились к соседям, так как своей бани у нас не было.

– Я воды на всех натаascaю, только пустите нас с Таней к Рождеству Христову вымыться.

⁹ Пим – валенок.

Вера в очистительную силу воды была у мамы неколебима. Всякий раз слышала я от нее: «Матушка сия вода, как обмывашь ракитовы кусты, так обмой, окупай рабу Божью Татьяну». Перед одеванием она встряхивала ветхое белье со словами: «Стряхну, смахну на доброе здоровье». Потом меня гладила по голове, чмокала и приговаривала: «Вот и накуралась. Вот и все грехи смыли, и расти будешь быстрее».

Одним из важнейших обрядов в праздник Рождества был обряд славления. Тех, кто славил, называли славильщиками. В нашем селе это были дети. Мне было семь лет, шли длинные зимние каникулы, и как тут удержишься от того, чтобы не пройти по всем избам с сумкой на плече и не пославить, тем более за этим следовало всегда угощение.

Морозным утром, в самый праздник Рождества, 7 января, взяв холщовую сумку, которая застегивалась на большую черную пуговицу и была сшита мне к поступлению в школу, я отправилась по селу. Помню, день был яркий, солнечный, легкий морозец румянил щеки, снег скрипел под ногами. Настрой у меня был боевой, походный. Все время хотелось улыбаться, ведь я только что поборола корь. В те времена ребятню в деревне держали строго. Мы знали, что в чужой избе надо стоять у порога, вперед не проходить, если хозяева не пригласят, а то они «живо вымахнут на широкую улицу». Как говорится, «за ушко, да и на солнышко». Существовали неписанные правила: не вертеть глазами по избе, ничего не брать без спросу... С этими знаниями я и отправилась вдоль деревни.

В сумке уже появились сдобные булочки, розовый длинный пряник, конфетки-подушечки без обертки и даже денежки в виде огромных пятаков. Их иногда прикладывали мне на ушибленное место.

Некоторые добрые хозяева встречали меня восторженно: «Вот молодец Танюшка, что пожаловала, не поленилась, с раннего утра пришла, покуда еще всю прикуску не съели. И молитвы-то ты наизусть знаешь, и поешь звонко. Сама выучила или мать помогла?» От похвалы я старалась еще больше: «Рождество Твое, Христе Боже наш...» Не пропуская ни одной избы, ходила я славить. Сумка моя постепенно наполнялась, и я мечтала, как сядем мы с мамой пить чай, а она будет хвалить меня:

– Вот пошла, не поленилась, и праздник у нас с тобой получился, как положено. Везде и всем трудиться надо. Бог трудолюбивых жалует, а ленивых наказывает. Лениться – грех великий. Опосле Боженька даст тебе счастья. Ведь ты его прославляла.

Дошла я до дома, в который идти не хотелось. Ветхий, маленький стоял домишко. Детской интуицией чувствовала: сюда нельзя, тут ребятшек своих много, значит, бедно, но не удержалась и пошла в эту захудалую избенку. Сумка моя была уже полная и тяжелая. Ее пришлось оставить в темных больших сенях. В избу зашла налегке и с порога продекламировала:

Маленький клопчик
Заскочил на гопчик,
В дудочку играет
Христа прославляет.

– Здравствуйте, хозяин с хозяйшкой. С Рождеством, Христовым праздничком! Пойди-ка, хозяин, в амбарушечку да принеси хлеба краюшечку. Загляни, хозяйка, в сундучок да подай пятачок.

Хозяйские ребяташки, которые сидели везде: на лавках, полатах, печи, радостно захохотали, а один – юркнул в сени. В амбарушечку, кадушечку, сундучок никто не заглянул. Ни хлеба краюшечку, ни пятачка мне не несли. В избе было пусто, хоть шаром покати. И тогда я звонко запела: «Рождество Твое, Христе Боже наш...» На что хозяйка, появившись из-за выцветшей, захватанной грязными руками занавески, тихо сказала: «Не старайся, Таня, у нас ничё нет. Нам бы самим кто подал». Я внимательно смотрела на нее. Передо мной стояла жел-

тая старуха, худая, без жизненных сил, в ветошном платье сплошь в заплатках, которые были разного цвета, и на некоторых местах заплатка сидела на заплате. От того, что заплатки были разные, изношенные, вся она была похожа на ряженую. Глаза только выдавали ее возраст, она не была старухой, какой казалась вначале. Я, несмотря на запрет мамы, посмотрела кругом. Пустота, грязь и низкий потолок давили. Кроме ребятишек и трех куриц с петухом, которые жили в избе под лавкой, ничего не было. Эта картина была для меня не нова. Большинство жили точно так же, но тут не было даже надежды. Я смутилась и вышла из бедной, набитой детьми и нуждой избы. Своей «драгоценной сумки» в темных сенях я уже не обнаружила. Искала ее во всех углах, тщательно ощупывая. Нет моей сумки, моего сокровища. «Украли!» – больно стучало в моей голове. Я опять вошла в избу и громко спросила, с детской озлобленностью, но не плача: «Где моя сумка с прикуской, которую я насладила? Я точно помню, что оставила ее в углу, в сенях». Ребятишки хохотали, резвились, хитро ухмылялись в ответ. Старуха спряталась на середине за выцветшей занавеской. Она в ответ молчала. Какое-то время я тоже стояла молча, а потом поняла: надо идти домой. Нестерпимо хотелось есть, ведь я почти целый день ничего не ела. Упорная славильница шла по селу и горько плакала. Мне было жаль себя, что столько трудилась и все зря.

Уже не вспомнить, что я думала в то время своим детским неокрепшим умишком. Наверное, соображала, что жадность – плохое качество человека и всегда будет наказано.

– И маму не угощу, и сумку украли. А теперь вой, раз котелок не варит. В чем книжки в школу буду носить после каникул?

Слезы враз высохли, домой я пришла уже не с победой, а с поражением. Мама пожалела, поойкала, утешила меня:

– Не горюй, Таня, с многим Бог и с малым Бог. Знаю я эту ораву голодную, им самим-то подай, Господи. Хоть бы сумку свою воротить.

Она ушла, но вернулась с пустыми руками.

– Чё с возу пало, Таня, то пропало. Надо мне новую сумку для тебя шить. А они на доброе здоровье, пусть поминают нашу благодарность, а нам, может, на это Господь больше пошлет. Один Бог знает, что делается на свете. «Везде пыль да копать и нечего лопать», – так у нас говорили тогда в деревне.

После этого случая я никогда больше не ходила славить. Каждый раз в Рождество я вспоминала этот казус, да так и не поняла: что это было?

Я ходила от голода просить милостыню или прославлять Господа? Я не только поставила для себя вопрос, но и получила жизненный урок.

Глава 9. Нечистая сила

В войну и долгие годы после войны вместе с холодом, нищетой, тараканами настоящим стихийным бедствием были для нас вши.

– Хоть бы выдюжить да выжить Бог велел. В аду, поди, и то лучше, чем здесь, на белом свете, – причитала мама.

Помню, как многие в классе чесали втихаря себя, стыдясь учителя. Сейчас писать о вшах, мягко говоря, неприятно, но не писать – значит не сказать всей правды о тогдашней жизни. Они заводились везде: в головах, белье, одежде, не давая никому покоя. Мыла не было, а потому бороться с ними было в то время у нас невозможно, они плодились неистово. В каждой избе можно было услышать такое:

– Вот и поживи с ними. От них хоть в петлю лезь, ноне будешь же упекаться от своих рук – это грех великий. Бог велит, и это переживем.

Особенно страдали от кровососов маленькие дети, которые самостоятельно не могли с ними справиться. Нестерпимый зуд заставлял чесаться так, что на коже образовывались язвы. Бороться родителям было некогда: все бежали на работу за трудоднем. Никому не хотелось умирать голодной смертью. «Душа еле в теле, а рубаху вши съели», – запомнила я с тех пор.

Те хозяева, у кого были большие семьи, придумали даже варить мыло сами из внутренностей убитых животных. От этого действия войти в их избу было нельзя: стоял нестерпимый смрад. После такого «производства» запах еще долго не выветривался из избы. Избы эти старались избегать и заходили в них только по большой надобности.

Мой муж рассказывал мне, как в их деревушке, которая стояла от нашего села в пяти километрах, Валька (она была моложе нас) от голода съела кусок такого самодельного мыла и заумирала, отчего ее мать, Пелагея, подняла такой переполох, что всю деревню поставили на дыбы, в результате вся деревня откачивала Вальку, приводила в чувство. Вальку откачали. К слову, я в те годы, не спросясь, съела от голода у тетки Марии положенный на семена огромный, твердый, желтый огурец. Он словно дразнил меня на подоконнике. При этом тщательно разжевала его, даже вкуса семян не поняла, так набросилась, что до вкуса дело не дошло. Загнанные в угол, мы готовы были съесть все, лишь бы не умереть. Как назвать такую жизнь?

Но вернемся, однако, в то далекое время. Мама, чтобы решить проблему кровососных насекомых, просила обмылки у знакомых за что угодно, хоть за кружево. Мыло мы не варили, так как падающих животных в нашем доме не было, а делали щелок. Для этого в кипящую воду насыпали побольше золы и настаивали. Вода получалась мягкая, как от мыла. Помню, как после мытья такой водой мы покрылись маленькими язвочками, и было решено нами бороться с паразитами ранее испытанным методом – вручную. Так делали все. Снимали белье, выбивали ногтями рук, а из головы вычесывали их гребнем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.